

ИЭН  
МАКБЮЭН  
ИСКУПЛЕНИЕ





Интеллектуальный бестселлер

Иэн Макьюэн

**Искупление**

«ЭКСМО»

2001

**Макьюэн И.**

Искупление / И. Макьюэн — «Эксмо»,  
2001 — (Интеллектуальный бестселлер)

ISBN 978-5-04-101257-1

Иэн Макьюэн. – один из авторов «правлящего триумvirата» современной британской прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской премии за роман «Амстердам». «Искупление». – это поразительная в своей искренности «хроника утраченного времени», которую ведет девочка-подросток, на свой причудливый и по-детски жестокий лад переоценивая и переосмысливая события «взрослой» жизни. Став свидетелем изнасилования, она трактует его по-своему и приводит в действие цепочку роковых событий, которая «аукнется» самым неожиданным образом через много-много лет... В 2007 году вышла одноименная экранизация романа (реж. Джо Райт, в главных ролях Кира Найтли и Джеймс МакЭвой). Фильм был представлен на Венецианском кинофестивале, завоевал две премии «Золотой глобус» и одну из семи номинаций на «Оскар». Больше интересных фактов о творчестве автора читайте в ЛитРес: Журнале

ISBN 978-5-04-101257-1

© Макьюэн И., 2001

© Эксмо, 2001

# Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	52

# Иэн Макьюэн

## Искупление

*Посвящается Анналине*

– Мисс Морланд, дорогая, подумайте о существовании этих ужасных подозрений. Какие были у вас основания? Вспомните, в какой стране, в каком веке мы живем. Вспомните, что мы англичане, что мы христиане. Попробуйте воспринять жизнь по-настоящему, посмотрите вокруг себя. Разве наше воспитание готовит нас к таким извращениям? Разве наши законы им потакают? Могли бы они остаться незамеченными в стране, в которой печать и общественная деятельность находятся на таком высоком уровне, где все люди добровольно подглядывают друг за другом и где благодаря развитию газет и дорог ничто не может ускользнуть от всеобщего внимания? Милейшая мисс Морланд, что за мысли бродят в вашей головке?

Они дошли до конца галереи. И она со слезами стыда убежала к себе в комнату.

*Джейн Остин. Нортенгерское аббатство.*

*(Перевод С. Маршака)*

## Часть первая

### I

Пьеса, для которой Брайони рисовала афиши, делала программки и билеты, сооружала из ширмы кассовую будку и обклеивала коробку для денежных сборов гофрированной красной бумагой, была написана ею за два дня в порыве вдохновения, заставлявшем ее забывать даже о еде. Когда приготовления закончились, ей не оставалось ничего, кроме как созерцать свое творение и ждать появления кузенов и кузины, которые должны были прибыть с далекого севера. Порой повергающая в ужас, порой грустная до слез, пьеса представляла собой историю любви; идея ее, коротко изложенная в стихотворном прологе, состояла в том, что любовь, основанная не на здравом смысле, обречена. За свою безрассудную страсть к нечестивому графу-иностранцу героиня, Арабелла, расплачивается тем, что во время поспешного бегства со своим избранником в некий городок у моря заражается холерой. Покинутая им и едва ли не всем миром, прикованная к постели на каком-то чердаке, она вдруг открывает в себе чувство юмора. Судьба дарует ей еще один шанс в лице нищего доктора, под маской которого на самом деле скрывается принц, решивший посвятить себя служению страждущим. Исцеленная им Арабелла на сей раз поступает благоразумно, за что вознаграждается примирением с семьей и союзом с лечащим принцем. Их свадьба происходит «ветреным, но солнечным весенним днем».

Миссис Толлис читала семь страниц «Злоключений Арабеллы», сидя за туалетным столиком у себя в спальне, при этом писательница все время стояла рядом, обнимая ее за плечи. Брайони напряженно всматривалась в лицо матери, стараясь не упустить ни малейшего отражения эмоций, и Эмилия Толлис, чтобы сделать приятное дочери, то демонстрировала тревогу, то давилась от смеха, а в конце изобразила благодарную улыбку и одобрительно закивала, после чего, обняв девочку и усадив себе на колени – о, это ощущение горячего гладкого тельца,

памятное еще с его младенчества и все еще не покинувшее, во всяком случае, не совсем покинувшее ее! – сказала, что это пьеса «чрезвычайной важности», и немедленно согласилась, прошептав это в тугой завиток девичьего ушка, чтобы ее слова были процитированы на афише, которой предстояло красоваться на мольберте при входе в вестибюль рядом с кассовой будкой.

Тогда Брайони едва ли подумала об этом, но то был кульминационный момент ее затеи. Все остальное не могло сравниться с этим ощущением огромного удовлетворения и свелось лишь к мечтам и разочарованию. Тем летом в сумерках, после того как свет в ее комнате гасили и она ныряла в уютную темноту своей осененной балдахинной кровати, бывали моменты, когда сердце ее начинало усиленно биться от томительных ярких фантазий, представлявших собой короткие пьески, непременно участником которых был Леон. В одной из таких пьесок его широкое добродушное лицо искажалось от горя, когда Арабелла, оставшись в полном одиночестве, впадала в отчаяние. В другой он представал с бокалом в руке в какой-нибудь модной городской пивнушке и хвастался перед друзьями: «Да, моя младшая сестра Брайони Толлис – писательница, вы не могли не слышать о ней». В третьей он победно потрясал в воздухе кулаком после того, как опускался занавес, хотя никакого занавеса на самом деле не было, его просто невозможно было повесить. В сущности, ее пьеса предназначалась не для кухни и кузенов, а для брата, была написана в честь его возвращения. Брайони рассчитывала вызвать его восторг и, отвадив от бесчисленной череды легкомысленных подружек, наставить на верный путь поисков такой жены, которая убедит его осесть в деревне и любезно попросит Брайони стать подружкой невесты на их свадьбе.

Брайони была из тех детей, что одержимы желанием видеть мир упорядоченным. Если комната ее старшей сестры представляла собой сущий бедлам, где были беспорядочно навалены неразрезанные книги, нераспакованные вещи, постель никогда не заправлялась, а окурки из пепельниц не выбрасывались, то комната Брайони являлась храмом божества порядка: на игрушечной ферме, расположившейся на широком подоконнике глубоко утопленного в стене окна, было множество обычных животных, но все фигурки смотрели в одну сторону – на свою хозяйку, словно готовились по ее знаку дружно грянуть песню, и даже куры находились в аккуратном загончике. Честно говоря, комната Брайони была единственной комнатой на верхнем этаже, в которой царил порядок. Ее куклы, сидевшие прямо в своем многокомнатном домике, казалось, придерживались строгой инструкции не прислоняться к стенам; всевозможные фигурки размером с большой палец, расставленные на туалетном столике – ковбои, водолазы, человекообразные мыши, – ровностью рядов и интервалов между ними напоминали гражданское ополчение в ожидании приказа.

Любовь к миниатюрам была одним из проявлений приверженности Брайони к порядку. Другим проявлением можно было считать страсть к секретам: потайной ящичек в ее полированном комодe открывался нажатием на нужный узелок в хитроумно выточенном соединении типа «ласточкин хвост». Там она хранила дневник и блокнот, исписанный лично ею изобретенным шифром. В игрушечном сейфе с шестизначным кодовым замком покоились письма и открытки. Старую оловянную коробочку для карманных денег она прятала под половицей под кроватью. В коробочке лежали сокровища, собранные за последние четыре года, – начало коллекции она положила в день своего девятилетия. Здесь находились двойной желудь-мутант, кусочек пирита, купленный на ярмарке магический амулет, предназначенный для моления о ниспослании дождя, легкий как перышко беличий черепок.

Но потайные ящички, запирающиеся дневники и криптографические записи, по сути, ничего не меняли: у Брайони никогда не было секретов. Стремление к гармоничному, упорядоченному миру лишало ее возможности совершать безрассудные поступки. Насилие и разрушение являлись, по ее представлениям, проявлениями хаоса, в ее натуре отсутствовала жестокость. Ввиду действующего статуса единственного маленького ребенка в семье, а также относительной изолированности дома Толлисов Брайони оказывалась отрезанной, по крайней

мере во время долгих летних каникул, от подруг с их девчачьими интригами. В ее жизни не было ничего достаточно интересного или постыдного, что нуждалось бы в утаивании; о беличьем черепке, хранившемся под половицей, не знал никто, но никто и не стремился узнать. Впрочем, все это она вовсе не считала особым несчастьем, вернее, так казалось потом, когда все уже разрешилось.

В одиннадцатилетнем возрасте Брайони написала свой первый рассказ – нелепый, похожий на дюжину народных сказок и лишенный, как она поняла позднее, того знания жизни, которое позволяет добиться читательского уважения. Но первый неудачный опыт показал ей, что воображение само по себе источник тайн: начиная писать рассказ, нельзя было никому ничего говорить. Словесная игра – вещь слишком зыбкая, уязвимая, слишком сокровенная, чтобы посвящать в нее кого бы то ни было. Даже выводя на бумаге всего лишь «он сказал» или «а потом», Брайони вздрагивала, чувствуя, как глупо полагать, будто наверняка знаешь что-либо о чувствах воображаемого человека. Описание слабостей персонажа неизбежно чревато саморазоблачением: читатель невольно заподозрит, что она описывает себя, – разве могло быть иначе? Только когда повествование завершалось, все судьбы прояснялись и коллизия вполне вырисовывалась, так что рассказ походил, по крайней мере в этом отношении, на любое другое законченное сочинение, она могла почувствовать себя защищенной и оказывалась готова, проделав дырочки в полях, сшить страницы веревочкой, нарисовать красками или просто карандашом обложку и показать завершенную работу матери или отцу, если тот был дома.

Ее усилия встречали поддержку. Более того, приветствовались, поскольку Толлисы начинали понимать, что дитя семьи обладает нетривиальным мышлением и владеет словом. Долгие летние дни она проводила, роясь в словарях и энциклопедиях в поисках словосочетаний, которые, несмотря на их кажущуюся абсурдность, а может, именно благодаря ей, западали бы в память: монеты, которые негодяй прятал в кармане, были у нее «эзотерическими», бандит, пойманный на краже автомобиля, плакал в порыве «бесстыдного самооправдания», героиня на чистопородном жеребце совершала «мимолетное» ночное путешествие, а чело короля, когда тот сердился, бороздили «иероглифы» морщин. Брайони часто просили почитать ее рассказы вслух в библиотеке; родители и старшая сестра удивлялись тому, с какой смелостью делает это их тихая девочка, как раскованно она жестикулирует свободной рукой, как изменяет выражение лица, имитируя речь того или иного персонажа, как время от времени на секунду-другую отрывается от текста, чтобы обвести взглядом лица слушателей, без смущения требуя от семьи безраздельного внимания, завораживая всех своим мастерством рассказчицы.

Но даже при отсутствии внимания, похвал и очевидного поощрения со стороны близких Брайони не могла бы не сочинять. К тому же, как многие писатели до нее, она начинала понимать, что не всякое признание идет на пользу. Например, бурный восторг Сесилии казался несколько преувеличенным, быть может, чуть-чуть окрашенным снисходительностью, а еще навязчивым. Взрослая сестра желала, чтобы был составлен каталог «изданных» рассказов Брайони и все они заняли свое место в библиотеке, на книжной полке между Рабиндранатом Тагором и Квинтом Тертуллианом. Если в этом и таилась насмешка, Брайони игнорировала ее. Она уже встала на курс и находила удовлетворение на иных уровнях; сочинение рассказов не только предполагало тайну, но и позволяло наслаждаться процессом миниатюризации. Ей было дано создать целый мир, причем гораздо более увлекательный, чем игрушечная ферма, всего на пяти страницах. Детство избалованного принца можно было вместить в полстраницы, бегство лунной ночью через спящие деревушки описать одной ритмически организованной фразой, а зарождение любви – двумя словами: *вспыхнувший взгляд*. Листки с только что законченным рассказом, казалось, трепетали в ее руке от заключенной в них жизни. Была удовлетворена и ее страсть к порядку, поскольку неуправляемый мир она могла таким образом сделать управляемым. Кульминацию драмы героини в ее власти было совместить с бурей и градом, штормом и громом, в то время как свадебные пиры обычно осенялись легким ветерком и мяг-

ким светом. Поклонение порядку влияло также и на представление Брайони о справедливости; смерть и свадьба были основами семейного уклада, смерть становилась уделом исключительно сомнительных личностей, свадьба оказывалась воздаянием достойным персонажам, и награду эту они получали в самом финале.

Пьеса, написанная к возвращению Леона домой, была ее первым драматургическим опытом, давшимися Брайони, однако, без особого труда. Ей показалось огромным облегчением перестать выводить все эти бесконечные «он сказал», «она сказала», не описывать погоду, первые признаки весны или внешность героини – диапазон красоты, как она обнаружила, весьма ограничен, в то время как уродство имеет бесчисленное множество личин. В драме вселенная сокращалась до конкретного высказывания, и в этом заключался истинный, почти идеальный порядок, а в качестве компенсации каждая реплика выражала чувства в их крайних проявлениях, при которых восклицательные знаки незаменимы. «Злоключения Арабеллы» можно было назвать мелодрамой, если бы автору был знаком этот термин. Предполагалось, что пьеса будет вызывать у зрителей не смех, а ужас, принесет им облегчение и преподаст урок, именно в таком порядке, поэтому невинная страсть, с которой Брайони готовила свой проект – афиши, билеты, касса, – делала ее особенно уязвимой перед возможностью провала. Она легко могла бы сочинить в честь возвращения Леона еще один рассказ, но новость о том, что с севера к ним надолго приезжают кузены и кузина, заставила ее предпринять вылазку в область новых художественных форм.

Для Брайони особого значения не имело, что пятнадцатилетняя Лола и девятилетние близнецы Джексон и Пьеро были беженцами, пострадавшими в ходе суровой домашней гражданской войны. Она слышала, как ее мать критиковала импульсивное поведение своей младшей сестры Гермiony и сокрушалась по поводу ситуации, в которой оказались трое детей, а также осуждала своего слишком мягкого, трусливого зятя Сесила, сбежавшего ради собственного спокойствия в Оксфорд, в колледж Всех Святых. Брайони слышала, как мать с сестрой анализировали последние семейные скандалы, выходки, взаимные обвинения, и знала, что кузены и кузина приезжают на неопределенный срок, вероятно, на целый учебный семестр. Считалось, что дом Толлисов может принять еще троих детей и Куинси вольны жить здесь сколько пожелают, однако их родителям, если те когда-либо захотят навестить своих отпрысков в одно и то же время, придется выяснять отношения в другом месте. Две комнаты рядом с комнатой Брайони чисто вымели, повесили там новые занавески и притащили мебель из других помещений. В иных обстоятельствах она принимала бы в этих приготовлениях живое участие, но они совпали с двухдневным приступом ее творческого вдохновения и началом реконструкции фасада дома. У Брайони было смутное представление о том, что развод – это несчастье, но она никогда не сталкивалась с этим процессом непосредственно и не думала о нем. Для нее развод был одним из печально неизбежных осложнений повседневной жизни, не дающим пищи для рассказчика, ибо принадлежал к сфере беспорядка. Иное дело брак, вернее, свадьба с ее строгим ритуалом вознаграждения добродетели, с вызывающими трепет торжественными церемониями и банкетами, с обещанием вечного союза. Свадьба была также скрытой аллегорией плотского блаженства, пока еще для Брайони невообразимого. Шествуя по проходам сельских церквей и великолепных городских храмов под одобрительными взглядами многочисленных родственников и друзей, ее герои и героини достигали невинной кульминации, не нуждавшейся в продолжении.

Если развод представлял собой подлую антитезу всему этому, его можно было без раздумий бросить на другую чашу весов вместе с предательством, болезнями, воровством, оскорбительным поведением и лживостью. В глазах Брайони развод имел отвратительную личину скучной запутанности и бесконечной вражды. Как перевооружение, или абиссинский вопрос, или садоводство, он просто не входил в сферу ее интересов. Когда на исходе заполненного



томительным ожиданием субботнего утра Брайони услышала под окном спальни шорох колес по гравию, она, схватив свои листки, сбежала по лестнице в холл и выскочила на ослепительный дневной свет. Первым делом она крикнула своим ошалевшим с дороги юным гостям, зажатым вещами в салоне автомобиля:

– Вот ваши роли, все расписано. Завтра премьера! Репетиция начнется через пять минут! – Но это можно было счесть скорее свидетельством ее преувеличенного творческого самолюбия, чем бесчувственностью.

Но тут же на крыльце появились мать и сестра, скорректировавшие поспешное объявление Брайони. Гости – все трое рыжеволосые и веснушчатые – были препровождены в свои комнаты. Вещи туда перенес Дэнни, сын Хардмена. Потом все подкрепились горячими напитками в кухне, совершили экскурсию по дому, получили возможность поплавать в бассейне и наконец пообедали в саду на южной стороне дома под сенью виноградных лоз. Все это время Эмилия и Сесилия непринужденно болтали, стараясь дать возможность гостям почувствовать себя свободно, а на самом деле, конечно же, лишали их этой возможности. Брайони точно знала, что, доведись ей оказаться в чужом месте за двести миль от дома, бодрые вопросы, шутки и заверения, что она вольна в своих поступках, только угнетали бы ее. Взрослые не понимали, что больше всего на свете детям хотелось, чтобы их оставили в покое. Тем не менее Куинси изо всех сил притворялись веселыми и беззаботными, что сулило успех «Злоключениям Арабеллы». Хотя эта троица и отдаленно не походила на персонажей, которых им предстояло воплотить, кузина и кузены Брайони явно обладали способностью казаться тем, кем не были на самом деле.

Перед обедом Брайони улизнула в пустую детскую комнату, предназначенную для репетиций, и, расхаживая по ней, принялась обдумывать распределение ролей. Совершенно очевидно, что Арабелла, чьи волосы были так же черны, как у самой Брайони, не могла быть дочерью веснушчатых родителей или тайно бежать с веснушчатым графом-иностранцем, снимать чердак у веснушчатого хозяина гостиницы, без памяти влюбиться в веснушчатого принца и принять благословение на брак от веснушчатого викария перед лицом его веснушчатой паствы. Но работать приходилось с теми, кто был под рукой. Ее кузина и кузены были слишком рыжими – прямо-таки огненными! – чтобы это можно было скрыть. Единственное, что оставалось, – это сказать, будто *отсутствие* веснушек у Арабеллы есть знак, иероглиф – как скорее всего написала бы Брайони – избранности. Чистота души девушки сомнениям не подвергается и остается незапятнанной, несмотря на то что ей приходилось сталкиваться с окружающим миром, где полно грязи.

Другая проблема была связана с близнецами, которых посторонний человек ни за что не отличил бы друг от друга. Не могли же нечестивый граф и благородный принц быть похожи как две капли воды и притом иметь лица отца Арабеллы и викария! А что, если роль принца дать Лоле? Джексон и Пьеро, похоже, обычные мальчишки-непоседы, которые наверняка будут делать то, что им велят. Но вот согласится ли их сестра исполнить мужскую роль? У нее зеленые глаза, острые скулы, впалые щеки, и в ее молчаливости угадывается некая нервность, предполагающая сильную волю и легкую воспламеняемость. Одна попытка предложить Лоле эту роль может спровоцировать взрыв. И сможет ли она, Брайони, держать Лолу за руку перед алтарем, пока Джексон будет читать молитвенник?

Собрать всех исполнителей в детской Брайони смогла только в пять часов. Она поставила в ряд три стула, а сама втиснулась в высокое старое детское кресло – богемный штрих, дававший ей преимущество верхнего обзора, как у рефери на теннисном корте. Близнецы неохотно отошли от бассейна, в котором плескались три часа кряду. Они пришли босиком, натянув майки, с которых на пол капала вода. Вода стекала также с их спутанных волос на шеи; мальчишки дрожали от холода и стучали одним коленом о другое, чтобы согреться. От долгого купания кожа у них сморщилась и побелела, отчего в относительно слабо освещенной

детской веснушки казались почти черными. Сестра, сидевшая между ними положив ногу на ногу, напротив, демонстрировала безмятежное спокойствие, была щедро надушена и одета в зеленое хлопковое платье, выгодно оттенявшее ее кожу и волосы. Открытые босоножки позволяли видеть браслет на шиколотке и покрытые багряным лаком ногти. При виде этих ногтей у Брайони сдавило грудь, она сразу же поняла, что просить Лолу сыграть роль принца совершенно бесполезно.

Когда все расселись, юная писательница приготовилась обратиться к ним с краткой речью, в которой собиралась изложить сюжет пьесы и донести до будущих исполнителей мысль о том, сколь волнующим событием должно стать их завтрашнее выступление в библиотеке перед взрослой аудиторией. Но Пьеро перехватил инициативу, заявив:

– Ненавижу пьесы и все, что с ними связано.

– Я тоже, – подхватил Джексон, – и еще переодевания.

За обедом всем объяснили, что близнецов можно различать по ушам: у Пьеро на мочке левого уха не хватало треугольного кусочка, вырванного собакой, которую он мучил, когда ему было три года.

Лола с полным безразличием смотрела в сторону. Брайони удивилась:

– Как можно ненавидеть пьесы?

– Они просто повод, чтобы покрасоваться, – объяснил Пьеро и пожал плечами в знак того, что это очевидно.

Брайони вынуждена была признать, что в его словах есть резон. Именно поэтому она как раз и любила пьесы, по крайней мере собственную; все должны были обожать ее. Глядя на мальчишек, под чьими стульями образовались лужицы, вода из которых уже начала просачиваться в щели между половицами, она понимала, что они никогда не разделят ее честолюбивых устремлений. Тем не менее Брайони постаралась смягчить свой тон:

– По-твоему, Шекспир просто хотел покрасоваться?

Пьеро бросил тревожный взгляд на Джексона. Воинственная, как казалось Пьеро, фамилия была ему смутно знакома, от нее пахло школой и взрослой самоуверенностью, но близнецы всегда черпали смелость во взаимной поддержке.

– Конечно, это все знают, – сказал он.

– Вот именно, – подтвердил Джексон.

Лола посмотрела сначала на Пьеро, а потом перевела взгляд на Джексона. В семье Брайони миссис Толлис никогда не приходилось обращаться одновременно к обеим дочерям. Теперь Брайони поняла, как это делается.

– Вы будете участвовать в спектакле, а то получите по затрещине, после чего я все расскажу родителям, – пообещала она.

– Если ты дашь нам подзатыльники, то это *мы* все расскажем родителям.

– Вы будете участвовать в спектакле, или я расскажу родителям.

Несмотря на то что возможность наказания обсуждалась, это ничуть не снижало его опасности. Пьеро закусил нижнюю губу и стал сосать ее.

– Почему мы должны это делать? – В вопросе слышалась уступка.

Лола, взъерошив его мокрые волосы, объяснила:

– Помните, что говорили родители? Мы – гости в этом доме и должны быть... Какими мы должны быть? Ну, скажите. Какими мы должны быть?

– Пос-слушными, – дуэтом жалобно ответили близнецы, запнувшись на непривычном слове.

Повернувшись к Брайони, Лола улыбнулась:

– Пожалуйста, расскажи нам о своей пьесе.

Родители. Какая бы законная сила ни заключалась в этом существительном, она вот-вот должна была утратить свое значение, если уже не утратила, но пока это не стало общепри-

знанным фактом, требовалось соблюдать порядок и добиваться послушания, даже от самых маленьких. Брайони вдруг устыдилась того, что в своем эгоистическом порыве не дала себе труда предположить, будто ее кузены и кузина могут отказаться от участия в представлении «Злоключений Арабеллы». Но на их долю выпало пережить собственные злоключения, собственную катастрофу, и теперь, оказавшись гостями в ее доме, они чувствовали себя обязанными ей. А хуже всего, что Лола дала понять: она тоже будет участвовать в спектакле, пусть и через силу. Куинси, переживавшие не лучшие времена, еще и подвергались принуждению. Однако – Брайони с трудом старалась ухватить сложную мысль, обретавшую очертания у нее в голове, – не было ли здесь некой игры, не пыталась ли Лола, используя близнецов, довести до ее сведения что-то свое, враждебное и разрушительное? Будучи на два года младше, Брайони чувствовала уязвимость своего положения, тяжесть двухлетнего превосходства кузины, изящно давившей на нее, и собственная пьеса уже смущала ее и казалась жалкой.

Избегая встречаться взглядом с Лолой, она стала пересказывать сюжет, несмотря на то что его незатейливость ошеломляла теперь ее самое. Ей больше не хотелось заразить своих родственников трепетом ожидания предстоящей премьеры.

Как только она закончила, Пьеро заявил:

– Я буду графом. Мне нравится играть плохого человека.

Джексон сказал просто:

– А я – принц. Я всегда принц.

Брайони захотелось притянуть их к себе и расцеловать, но она лишь кивнула:

– Что ж, очень хорошо.

Лола, опустив ногу и одернув платье, встала, словно собралась уходить, потом, вздохнув то ли с грустью, то ли со смирением, сказала:

– Ну, поскольку пьесу написала ты, ты, конечно, будешь Арабеллой...

– О нет, – возразила Брайони. – Нет. Вовсе нет.

Говоря «нет», она, разумеется, имела в виду «да». Безусловно, роль Арабеллы предназначалась ей. «Нет» относилось лишь к Лолиному «конечно». Брайони должна была играть Арабеллу не потому, что сама написала пьесу, а потому, что ей и в голову не приходило, как может быть иначе, ведь именно Арабеллой должен был увидеть ее Леон, да она *и была* Арабеллой.

Но слово вырвалось, и Лола сладким голосом подхватила:

– В таком случае ты не будешь возражать, если ее сыграю я? Думаю, я смогу сделать это очень хорошо. По правде говоря, если выбирать из нас обеих...

Она не закончила фразу, а Брайони, не умея скрыть ужас, лишь смотрела на кузину, не в состоянии произнести ни слова. Она понимала: роль уплывает от нее, но не могла придумать, что сказать, чтобы этого не случилось. Пользуясь молчанием Брайони, Лола начала излагать свои преимущества:

– В прошлом году я сильно хворала, поэтому болезнь тоже смогу отлично сыграть.

Тоже? Брайони не могла тягаться со старшей кузиной. Неотвратимое несчастье туманило ей голову.

Один из близнецов с гордостью добавил:

– И еще ты участвовала в школьном спектакле.

Как могла Брайони сказать им, что Арабелла – не веснушчатая? Кожа у нее бледная, а волосы черные, и ее мысли – это мысли самой Брайони. Но разве можно отказать кузине, очутившейся так далеко от дома и переживающей крушение семьи? Лола, похоже, читала ее мысли, потому что выложила последнюю карту, козырного туза:

– Скажи «да». Это будет единственным счастливым событием в моей жизни за все последние *месяцы*.

Да. Произнести слово у Брайони не повернулся язык, она лишь кивнула и тут же в отчаянии почувствовала, как нервная дрожь добровольного самоуничтожения пробежала по коже

и воздух вокруг запульсировал темными волнами. Ей хотелось убежать, оказаться в одиночестве, уткнуться лицом в подушку, смаковать горестную остроту момента, мысленно прокручивая события в обратном порядке, до того момента, с которого началось крушение. Ей было необходимо, закрыв глаза, вообразить все то бесценное, что она потеряла, отдала собственными руками, представить себе грядущий новый порядок. Это касалось не только Леона, но и старинного шелкового платья цвета персика со сливками, которое мама предназначала для ее свадьбы, то есть для свадьбы Арабеллы. Платье тоже придется отдать Лоле. Как сможет мать отвергнуть дочь, так любившую ее все эти годы? Перед мысленным взором Брайони уже стояла Лола в облегающем, идеально пригнанном по фигуре платье, видела бессердечную мамину улыбку и понимала, что единственный разумный выход для нее – убежать, поселиться в глухом лесу, питаться ягодами и ни с кем не разговаривать. Пусть однажды зимой, на рассвете, ее найдет бородатый лесник. Она, прекрасная и мертвая, босая или, возможно, в балетных туфельках с красными ленточками-завязками, свернется клубочком у подножия гигантского дуба...

Жалость к себе требовала полной отдачи, только в уединении Брайони могла вдохнуть жизнь в душераздирающие детали, а сейчас она уйти не могла. Получив согласие – насколько легкий наклон головы может изменить жизнь! – Лола тут же подняла с пола странички рукописи, и близнецы, вскочив со стульев, вышли вслед за сестрой на середину комнаты, расчищенной Брайони накануне. Посмеет ли она теперь уйти? Лола мерила шагами комнату, прижав ладонь ко лбу, просматривая текст и бормоча строчки пролога. Объявив, что надо с самого начала обо всем позаботиться, она принялась распределять между братьями роли родителей Арабеллы и объяснять, каким должен быть их первый выход, полагая, видимо, будто знает все, что требовалось знать о театре. Распространение владычества Лолы происходило стремительно и делало жалость Брайони к себе никому не интересной. А может, в этом проявлялась особая изысканность уничижения? Ибо Брайони не получила даже роли матери Арабеллы, так что, судя по всему, настал момент выскользнуть из комнаты и плюхнуться в темноте спальни на кровать лицом вниз. Удивительно, но именно оживленность Лолы, полное отсутствие внимания ко всему, что не относилось к делу, и уверенность Брайони, что ее чувств никто не замечает, а тем более не испытывает никакого чувства вины, дали ей силу восстать против несправедливости.

В своей приятной и идеально защищенной жизни она, в сущности, никогда прежде ни с кем не конфликтовала, но теперь поняла: принять вызов – все равно что нырнуть в холодный бассейн в начале июня, нужно просто заставить себя это сделать. Когда, выбравшись из детского кресла, запыхавшаяся Брайони вышла в центр комнаты, туда, где стояла кухня, сердце ее билось неровно.

Забрав у Лолы текст, она произнесла натянуто, причем голос ее звучал выше, чем обычно:

– Если ты – Арабелла, то я буду режиссером. Большое спасибо. И пролог я буду читать сама.

Лола прижала к губам покрытые веснушками ладони.

– Прос-с-ти! – притворно смутилась она. – Я просто хотела, чтобы мы наконец приступили к делу.

Брайони не нашлась что ответить и, повернувшись к Пьеро, сказала:

– Не больно-то ты похож на мать Арабеллы.

Издевка над таким распределением ролей и смех, который эта фраза вызвала у мальчиков, поколебали прежний баланс сил. Картинно пожав плечами, Лола отошла к окну и уставилась в него. Вероятно, теперь она боролась с желанием выбежать из комнаты.

Несмотря на то что близнецы затеяли борцовский матч, а их сестра почувствовала приближение приступа головной боли, худо-бедно репетиция началась. В накаленной тишине Брайони декламировала пролог:



Вот рассказ о гордой Арабелле,  
Убежавшей с негодяем смело.  
Мать с отцом рыдают безутешно:  
Дом родной так спешно и так грешно  
Первеница бросила...

Стоя бок о бок с женой у кованых ворот усадьбы, отец Арабеллы поначалу умолял дочь изменить свое решение, потом, доведенный до отчаяния, требовал, чтобы она осталась. Но горестная, однако полная решимости героиня непреклонно смотрела ему в лицо, держа за руку графа, а оседланные кони, привязанные к ближнему дубу, в нетерпении ржали и били копытами. Дрожащим от самых нежных чувств голосом отец увещевал:

Любимое дитя, юна ты и прелестна,  
Но простодушна. Хоть и веришь честно,  
Что мир у ног твоих, меня тревога гложет:  
Восстать и растоптать тебя он может.

Брайони держала за руку Джексона, Лола и Пьеро стояли, также рука об руку, напротив. Когда мальчики встречались взглядами, на них нападал приступ смеха, и девочки шикали на них. Одно это доставляло множество хлопот, но по-настоящему Брайони поняла, какая пропасть разделяет замысел и его воплощение, лишь когда Джексон сдавленным монотонным голосом начал читать свою роль. Он бубнил так, словно текст, написанный на бумаге, был помпильным списком, и оказался не в состоянии произнести слово «простодушна», сколько бы раз она его ни повторяла, он также упорно опускал последние слова «восстать... и растоптать». Что касается Лолы, то она произносила реплики правильно, но небрежно и время от времени неуместно улыбалась, желая, видимо, показать, что ее почти взрослые мысли где-то далеко.

И так в течение получаса кузены и кузина с севера методично разрушали творение Брайони, поэтому появление старшей сестры, пришедшей, чтобы отвести близнецов в ванную комнату, показалось ей актом милосердия.

## II

Отчасти по причине молодости и прекрасной погоды, отчасти из-за нестерпимого желания покурить Сесилия Толлис с букетом цветов в руках почти бежала по тропинке, тянувшейся сначала вдоль реки, потом вдоль замшелой каменной стены, ограждавшей старый бассейн, и наконец сворачивавшей в дубовую рощу. Подгоняло ее также и ожидание того, что скуке от безделья, мучившей ее несколько недель, минувших после выпускных экзаменов, приходит конец. С момента ее возвращения домой жизнь словно застыла, и сияющий день пробуждал в ней почти отчаянное нетерпение.

Лесная прохлада казалась благословением, а причудливо вылепленные стволы деревьев – восхитительными. Миновав узкую железную калитку и пробежав вдоль рододендронов, окаймлявших низкую изгородь, Сесилия пересекла парк с немногочисленными деревьями, проданный местному фермеру для выпаса коров, и оказалась позади фонтана, представлявшего собой уменьшенную вдвое копию «Тритона» Бернини, установленного в Риме на площади Барберини.

Мускулистая фигура, вальяжно раскинувшаяся в раковине, выдувала из витой ракушки струйку, поднимавшуюся всего лишь на два дюйма вверх, – напор воды был слабым, и струя падала обратно на голову Тритону, стекая по его каменным локонам, по борозде мощного

позвоночника и оставляя на своем пути блестящий темно-зеленый след. Здесь, в чуждом северном климате, он не чувствовал себя как дома, но в лучах яркого утреннего солнца смотрелся великолепно, как и четыре дельфина, поддерживавшие раковину с волнистыми краями, внутри которой он расположился. Сесилия посмотрела на каменные чешуйки, покрывавшие дельфинов и бедра Тритона, потом перевела взгляд на дом. Кратчайший путь в гостиную пролегал через лужайку и террасу с французскими окнами. Но на лужайке, стоя на коленях, друг ее детства и однокашник по университету Робби Тернер полыл цветочный бордюр, а ей не хотелось вступать с ним в разговор. По крайней мере сейчас. Ландшафтный дизайн стал одним из его пунктов по возвращении. Другим были разговоры о поступлении в медицинский колледж. После получения диплома по литературе это казалось весьма претенциозным и бесцеремонным, поскольку платить за обучение предстояло ее отцу.

Сесилия освежила цветы, обмакнув в глубокий фонтан, наполненный до краев холодной водой. Чтобы избежать встречи с Робби, она поспешила к дому кружным путем. «Лишний повод, – подумала она, – провести на свежем воздухе еще несколько минут». Утреннее солнце, как, впрочем, и любой свет, не могло скрасить уродство дома Толлисов – построенного лет сорок назад приземистого, орнаментированного покрытыми свинцом пластинами здания из красного кирпича в стиле феодальной готики. Этот стиль Певзнер или кто-то из его команды окрестил в одной из статей трагедией упущенных возможностей, а некий молодой писатель-модернист назвал до преступного непривлекательным. Когда-то на этом месте стоял дом в классическом стиле Джеймса Адама, сгоревший в конце XIX века. От него осталось лишь искусственное озеро с островом посередине, к которому вели два каменных мостка. На острове высоко над водой возвышался полуразрушенный храм с осыпавшейся штукатуркой. Дед Сесилии, выросший в квартире над скобяной лавкой и сколотивший состояние на патентах навесных замков собственной конструкции, болтов, щеколд и засовов, построил новый дом по своему вкусу, определявшемуся прежде всего требованиями прочности, надежности и функциональности. Тем не менее, если встать спиной к главному входу и посмотреть вдаль, не обращая внимания на фризских коров, пасущихся в тени редких деревьев, перед вами открывался весьма приятный вид, вызывавший ощущение бесконечного, неподвластного времени восхитительного покоя. Этот вид теперь больше, чем когда-либо, вселял в Сесилию уверенность в необходимости перемен.

Она вошла в дверь, быстро пересекла выложенный черно-белой плиткой холл – как привычно и как докучливо звучало эхо ее шагов! – и остановилась на пороге гостиной, чтобы перевести дух. Холодные капли, падавшие на ноги в открытых босоножках с лохматого букета олеандров, ивовых веток и ирисов, взбодрили ее. Ваза, которую она искала, стояла на американском столике вишневого дерева у чуть приоткрытого французского окна. Окно выходило на юго-восток, и утреннее солнце покрывало зеленовато-голубой ковер вытянутыми параллелограммами света. По мере того как успокаивалось дыхание, желание закурить становилось еще острее, но Сесилия медлила в дверях, очарованная совершенством декорации – три выцветших дивана, окружавших почти новый готический камин, отгороженный экраном с изображением застывшей на морозе осоки, расстроенный клавесин, на котором никто не играл, пюпитры красного дерева, тяжелые бархатные шторы, свободно подхваченные оранжево-синей тесьмой с кисточками и обрамлявшие картину, запечатленную в створе окна: безоблачное небо и желто-зеленая пестрая терраса, мощенная плитами, сквозь щели между ними проросли лечебная ромашка и пиетрум. Ступеньки вели с террасы на лужайку, на краю которой все еще трудился Робби и которая простиралась ярдов на пятьдесят, до фонтана «Тритон».

Река и цветы, пробежка, которую в последние дни Сесилия совершала крайне редко, ребристые стволы дубов, комната с высоким потолком, геометрия света, постепенно замирающая в тишине пульсация в ушах – все это было ей мило и хорошо знакомо, но незаметно перетекало в нечто изысканное и странное. В то же время она внутренне корила себя за то, что

родной дом казался ей скучным. Из Кембриджа Сесилия вернулась со смутным ощущением, будто вся семья должна беспрерывно наслаждаться ее обществом. Но отец почти постоянно был в городе, а мама, когда не ублажала свою мигрень, казалась отстраненной, даже недружелюбной. Сесилия носила подносы с чаем в комнату матери – такую же неопрятную, как ее собственная, – в надежде на доверительный разговор. Однако Эмилия Толлис ограничивалась лишь раздраженными замечаниями по поводу домашнего хозяйства или с непроницаемым выражением лица лежала в полутьме на высоко взбитых подушках и пила чай в изматывающей тишине. Брайони была потеряна для общения, так как полностью погрузилась в свои писательские фантазии – то, что поначалу казалось временной причудой, превратилось в настоящую одержимость. Сесилия встретила ее сегодня на лестнице. Сестра вела этих бедолаг, прибывших только вчера кузину и кузенов, наверх, в детскую, репетировать пьесу, которую она собиралась представить вечером, когда приедет Леон с приятелем. Времени оставалось всего ничего, а одного из близнецов Бетти уже успела подержать в заточении в буфетной за какую-то провинность. Сесилия не испытывала желания помочь сестре – было слишком жарко, к тому же, как бы ни старалась Брайони, затея грозила закончиться провалом, поскольку девочка связывала со своим спектаклем слишком большие ожидания, хотя никто, особенно близнецы, не соответствовал ее неистовому замыслу.

Сесилия понимала, что не может попусту тратить время в духоте неприбранной комнаты, лежа на кровати в облаке табачного дыма, подперев голову рукой, укалываясь о разбросанные повсюду шпильки и булавки и продираясь сквозь «Клариссу» Ричардсона. Она начала было составлять генеалогическое древо семьи, но по отцовской линии, по крайней мере до того, как ее прапрадед открыл скромную скобяную лавку, все предки безнадежно утопали в болоте крестьянского труда. Мужчины весьма подозрительно меняли фамилии, а семейная летопись изобиловала гражданскими браками, не зарегистрированными в приходских книгах. Сесилия не могла здесь оставаться, знала, что нужно обдумать планы на будущее, но не делала ничего. Существовали разные возможности, но с их осуществлением можно было подождать. У нее на счету имелось немного денег – достаточно, чтобы скромно прожить около года. Леон не раз приглашал ее погостить у него в Лондоне. Университетские друзья предлагали найти для нее работу – унылую, разумеется, но она обеспечила бы некоторую независимость. С материнской стороны у Сесилии были занятные тетуски и дядюшки, которые были бы счастливы принять ее у себя, в том числе и Гермiona, мать Лолы и мальчиков, которая сейчас жила в Париже с любовником, работавшим на радио.

Никто не препятствовал отъезду Сесилии, никто не стал бы особо печалиться по поводу ее отсутствия. И не апатия удерживала ее – нередко она бывала неугомонной до раздражения. Просто Сесилии нравилось думать, что ее не отпускают, потому что нуждаются в ней. Время от времени она убеждала себя, что торчит дома ради Брайони, или чтобы помочь матери, или потому, что это была для нее последняя возможность провести дома относительно долгий период времени и она должна воспользоваться ею. По правде говоря, перспектива паковать чемодан и садиться на утренний поезд не вдохновляла ее. Уехать – просто чтобы уехать? Домашняя же отсидка, уютная, хоть и тоскливая, была не такой уж неприятной формой самоистязания в ожидании чего-то радостного; если она уедет, может произойти что-нибудь плохое или, того хуже, хорошее – событие, которое она не может позволить себе пропустить. А еще был Робби, который выводил ее из себя тем, что подчеркнуто держал дистанцию, и своими грандиозными планами, которые обсуждал только с ее отцом. Они с Робби знали друг друга с семи лет, и ее тревожило, что в последнее время при разговоре они испытывали неловкость. Даже возлагая большую часть вины за это на него – неужели ему самому это не приходило в голову? – Сесилия твердо знала, что должна выяснить причину, прежде чем думать об отъезде.

В окна потянуло слабым запахом коровьего навоза, висевшим в воздухе всегда, за исключением самых морозных дней, но ощутимым лишь для тех, кто какое-то время отсутствовал.

Положив на землю совок, Робби встал, чтобы свернуть самокрутку, отголосок пребывания в коммунистической партии – еще одна отброшенная причуда наряду с амбициями заняться антропологией и планами пройти пешком от Кале до Стамбула. Между тем сигареты Сесилии находились двумя лестничными пролетами выше, в каком-то из нескольких карманов в ее одежде.

Она вошла наконец в комнату и сунула цветы в вазу. Когда-то эта ваза принадлежала ее дядюшке Клему, чьи похороны, точнее, перезахоронение в конце войны она помнила очень хорошо: орудийный лафет установили во дворе сельской церкви, гроб был задрапирован полковым знаменем, взметнувшиеся вверх сабли, звук сигнальной трубы над могилой и – что пятилетней девочке запомнилось больше всего – плачущий отец. Клем был его единственным родственником. История о том, как к нему попала ваза, излагалась в одном из последних писем молодого лейтенанта домой. Во французском секторе он как офицер связи организовал спешную эвакуацию маленького городка к западу от Вердена, который должен был вот-вот подвергнуться артиллерийскому обстрелу. Было спасено около пятидесяти женщин, детей и стариков. Позднее мэр вместе с другими представителями городских властей провел дядюшку Клема обратно через город в полуразрушенный музей. Вазу вынули из разбитой витрины и преподнесли ему в знак глубокой благодарности. О том, чтобы отказаться, не могло быть и речи, хотя воевать с мейсенским фарфором под мышкой было чрезвычайно неудобно. Месяц спустя лейтенант Толлис оставил вазу какому-то фермеру на хранение, а потом вброд перешел реку, чтобы забрать свою вещь, и той же ночью вернулся в часть, пешком проделав обратный путь. В последние дни войны его перевели в караульную службу, и он отдал вазу другу, чтобы тот сберег ее. Ваза долго путешествовала, пока снова не оказалась в штабе полка, откуда ее отправили в дом Толлисов через несколько месяцев после похорон дядюшки Клема.

Составлять аккуратный букет из диких цветов не было никакого смысла. В их живописном беспорядке таилась скрытая симметрия, и искусственное распределение ирисов, олеандров и ивовых ветвей разрушило бы этот эффект. В течение нескольких минут Сесилия пыталась аранжировать цветы так, чтобы добиться впечатления естественного хаоса, и не переставала при этом размышлять о том, стоит ли выйти к Робби. Это избавило бы ее от необходимости подниматься к себе. Ей было жарко и неуютно, хотелось взглянуть на себя в большое зеркало в золоченой раме, висевшее над камином, чтобы проверить, как она выглядит. Однако если Робби обернется – сейчас тот стоял спиной к дому и курил, – он сможет увидеть, что происходит в гостиной. Покончив с букетом, Сесилия сделала шаг назад. Теперь друг ее брата Пол Маршалл наверняка подумает, что цветы сунули в вазу так же небрежно, как и сорвали. Она понимала, что бессмысленно составлять букет до того, как в вазу налита вода, но так уж получилось: помимо собственной воли Сесилия перебирала и передвигала цветы, ведь далеко не все, что делает человек, особенно когда остается один, поддается логическому объяснению. Мама захотела, чтобы в комнате гостя стояли цветы, и Сесилия с радостью выполнила ее желание. За водой следовало пойти на кухню. Но там, поскольку Бетти приступала к приготовлению ужина, царила атмосфера террора, способная испугать не только таких маленьких мальчиков, как Джексон и Пьеро, но и помощников, нанятых в деревне. Даже в гостиной были слышны ее недовольные окрики и то, как она неестественно громко гремела кастрюлями. Если Сесилия сейчас появится в кухне, ей придется выполнять роль посредника между матерью с ее нечеткими распоряжениями и Бетти с ее воинственным настроем. В этой ситуации предпочтительнее было выйти из дома и наполнить вазу водой из фонтана.

Когда-то, когда она была еще подростком, отцовский друг, работавший в Музее Виктории и Альберта, приехал, чтобы осмотреть вазу, и объявил, что она ценная. Это оказался настоящий мейсенский фарфор, работа знаменитого мастера Херолдта, ваза была расписана им в 1726 году и, несомненно, давным-давно принадлежала королю Августу. Несмотря на то



что считалось, будто ваза стоит больше, чем все остальные ценности дома Толлисов, то есть хлам, который коллекционировал дед Сесилии, Джек Толлис желал, чтобы в память о брате ею постоянно пользовались, а не держали за стеклом в каком-нибудь шкафу. Если эта ваза пережила войну, следовало пояснение, то уж Толлисов как-нибудь переживет. Его жена не возражала. Дело в том, что, какой бы ценной ни была эта ваза и какие бы воспоминания ни навевала, Эмили Толлис она не слишком-то нравилась. Роспись – маленькие фигурки китайцев, торжественно восседающих за столом в саду с изящными декоративными растениями и неправдоподобной красоты птицами, – казалась ей аляповатой и претенциозной. Ее вообще угнетало китайское искусство. У Сесилии не было собственного мнения на этот счет, хотя иногда ей хотелось узнать, сколько могла бы стоить эта вещь на аукционе «Сотбис». Вазу почитали не из преклонения перед мастерством Херолдта в области изготовления многоцветной эмали, сине-золотого плетения орнамента и искусного изображения листвы, а в память о дядюшке Клеме, спасенных им жизнях, отважной ночной переправе через реку и его гибели за неделю до Перемирия<sup>1</sup>. Цветы, особенно дикие, смотрелись в ней достойной данью.

Сесилия обхватила холодный фарфор обеими руками и ногой широко распахнула стеклянную дверь на террасу. Выйдя на яркий свет, она ощутила дружеское объятие теплого воздуха, поднимавшегося от нагретого камня. Две ласточки кружили над фонтаном, а пеночки, прячась в густой тени колоссального ливанского кедра, наполняли воздух звенящим пением. Легкий ветерок колыхал цветы, щекотавшие лицо Сесилии, пока она, пройдя через террасу, осторожно спускалась по трем щербатым ступенькам на гравиевую дорожку. Робби резко обернулся, лишь когда она приблизилась.

– Я задумался... – хотел было объяснить он, но она его перебила:

– Не скрутишь мне свою большевистскую папироску?

Он отшвырнул окурок, наклонившись, взял коробочку, лежавшую на пиджаке, брошенном на траву, и двинулся вслед за Сесилией к фонтану. Некоторое время они шли молча.

– Чудесный день, – вздохнув, произнесла она.

Он смотрел на нее с любопытством и подозрительностью. Что-то происходило между ними, и она сама понимала: замечание о погоде прозвучало многозначительно.

– Ну, как тебе «Кларисса»? – спросил он, уставившись на свои пальцы, утрамбовывавшие табак в бумажке.

– Скучная.

– Так нельзя говорить.

– Скорее бы уж она добила своего.

– Добьется. Все будет хорошо.

Они замедлили шаг, потом остановились, чтобы он мог свернуть самокрутку.

– Я бы с большим удовольствием читала Филдинга, – сказала она и почувствовала, что сморозила глупость.

Робби, отвернувшись, смотрел вверх пасущихся в парке коров на дубовую рощу, окаймлявшую речную долину, рощу, через которую Сесилия пробегала сегодня утром. Он, должно быть, решил, что она изъясняется намеками, иносказательно желая донести до него свою жажду полнокровной и чувственной жизни. Разумеется, он ошибался, но она была смущена и не знала, как вывести его из заблуждения. У Сесилии промелькнула мысль, что ей нравятся его глаза – их радужки состояли из оранжевых и зеленых крапинок, удивительно отчетливых в солнечном свете. И еще ей нравилось, что он такой высокий. Редкое для мужчины сочетание ума и стати. Сесилия взяла у него самокрутку, он дал ей прикурить.

– Я знаю, что ты имеешь в виду, – сказал он, когда до фонтана оставалось несколько ярдов. – В Филдинге больше жизни, но психологически он грубее Ричардсона.

<sup>1</sup> Перемирие, заключенное 11 ноября 1918 г. и положившее конец Первой мировой войне. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Она поставила вазу у подножия неровных ступенек, ведущих к каменной чаше фонтана. Меньше всего ей хотелось бы сейчас вести с Робби схоластическую дискуссию о литературе восемнадцатого века. Филдинг вовсе не казался ей грубым, а Ричардсон – тонким психологом, но она не желала втягиваться в спор, защищаться, сыпать определениями, нападать. Она устала от всего этого, а Робби никогда не отступал. Решив сменить тему, она сказала:

- Ты знаешь, что сегодня приезжает Леон?
- Слышал. Это замечательно.
- Он везет с собой приятеля, того самого, Пола Маршалла.
- Шоколадного миллионера? О нет! И ты приготовила для него цветы!

Сесилия улыбнулась. Интересно, Робби притворяется, что ревнует, желая скрыть свою ревность? Она перестала его понимать. Отчуждение началось еще в Кембридже. Им стало слишком трудно общаться. Она снова сменила тему:

- Старик говорит, ты собираешься стать врачом.
- Я подумываю об этом.
- Должно быть, тебе очень нравится студенческая жизнь.

Робби снова отвернулся, но на сей раз лишь на какую-то долю секунды, а когда посмотрел на нее снова, ей показалось, что на его лице отразилось раздражение. Может, в ее замечании ему почудилась снисходительность? Сесилия снова отметила, что глаза у него испещрены оранжевыми и зелеными крапинками, как стеклянные шарики, в которые играют мальчишки. Но слова его звучали безупречно любезно:

- Я знаю, Си, что ты-то ее никогда не любила. Но как еще можно стать врачом?
- Вот именно, и я об этом: еще шесть лет. Зачем?

Робби не обиделся. Это она говорила с подтекстом, нервничала в его присутствии и сердилась на себя.

Он же воспринял ее вопрос совершенно серьезно.

– Мне никто не предлагает работу паркового дизайнера. Я не хочу преподавать или поступать на гражданскую службу. А медицина меня интересует... – Он запнулся, что-то вдруг сообщив. – Слушай, мы договорились, что я выплачу долг твоему отцу. Таково условие.

– Я вовсе не к тому вела...

Ее удивило, что Робби подумал, будто ее волнует вопрос о деньгах. Это было неблагородно с его стороны. Отец всю жизнь субсидировал образование Робби. Разве кто-нибудь против этого возражал? Раньше Сесилия думала, что ей это кажется, но теперь убедилась – она была права: в последнее время в манерах Робби появилось нечто раздражающее. Он не упускал случая, чтобы поставить ее в дурацкое положение. Два дня назад позвонил во входную дверь, что само по себе было странно, поскольку ему позволялось входить в дом без спроса в любое время. Когда она спустилась, он, стоя на крыльце, неестественно громким голосом спросил, нельзя ли ему взять книгу из их библиотеки. Случилось так, что как раз в этот момент Полли, стоя на четвереньках, мыла пол в вестибюле. Робби устроил целое представление: снял ботинки, которые вовсе не были грязными, потом, подумав, снял еще и носки и на цыпочках с демонстративной осторожностью прошел по мокрому полу. Все, что он делал, делал так, чтобы подчеркнуть дистанцию между ними. Он нарочито играл роль сына уборщицы, пришедшего в господский дом с поручением. Они вместе прошли в библиотеку, и, когда он нашел нужную книгу, Сесилия пригласила его выпить кофе. Его смущенный отказ был притворством – она не знала человека, более уверенного в себе, чем Робби, и понимала: он над ней издевается. Отвергнутая, она вышла из комнаты, поднялась к себе, улеглась на кровать с «Клариссой» и стала читать, не понимая ни слова, так как в ней неотступно росли раздражение и чувство неловкости. То ли над ней насмехаются, то ли наказывают за что-то – неизвестно, что хуже. Наказывают за то, что в Кембридже она вращалась в других кругах? За то, что ее мать не

уборщица? Насмежаются из-за плохих оценок, с которыми она окончила курс? А где, в каком учебном заведении женщину вознаграждают по заслугам?

Неуклюже, поскольку в руке у нее все еще была самокрутка, Сесилия подняла вазу и, придерживая, поставила на край фонтана. Было бы лучше предварительно вынуть из нее цветы, но она слишком нервничала. Руки у нее были горячими и сухими, вазу приходилось сжимать все крепче. Робби молчал, но по его виду – по сжатым губам, растянувшимся в вымученной улыбке, – было ясно: он сожалеет о сказанном. Это ее тоже не утешало. Вот так всегда в последнее время и кончались их разговоры – то один, то другой говорил лишнее, а потом пытался заглазить неловкость. В их беседах не было легкости, спокойствия, они не позволяли себе расслабиться ни на минуту. Наоборот, их разговоры изобиловали шпильками, ловушками, странными поворотами, что заставляло Сесилию ненавидеть себя почти так же, как она ненавидела в эти минуты Робби, хотя, разумеется, большую часть вины она возлагала на него. Сама она нисколько не изменилась, а вот он изменился безусловно. Он воздвиг преграду между собой и семьей, которая всегда хорошо относилась к нему и давала ему все. И только поэтому – опасаясь его отказа и собственного недовольства собой – Сесилия не пригласила его на сегодняшний ужин. Хочет сохранять дистанцию – что ж, пожалуйста.

У одного из четырех дельфинов, поддерживавших раковину, в которой сидел Тритон, ближайшего к Сесилии, широко открытая пасть заросла мхом и водорослями. Его сферические каменные глаза размером с яблоко переливались самыми разными оттенками зеленого. И вся композиция с северной стороны покрылась голубовато-зеленой патиной, так что в определенных ракурсах и при слабом освещении мускулистый Тритон и впрямь казался погруженным в море на сотню лье. Замысел Бернини, должно быть, состоял в том, чтобы вода музыкально журчала, струясь и ниспадая в бассейн по широкой раковине с неровными волнистыми краями. Но здесь напор воды был слишком слаб, и вода лишь беззвучно скользила по внутренней поверхности раковины, с краев которой, наподобие сталактитов в известняковой пещере, свисали склизкие, сочащиеся каплями илистые косички. Чаша фонтана, правда, была глубокой, фута в три, и чистой. Над выложенным бледно-кремовым камнем дном плясали извивающиеся прямоугольники отраженного солнечного света, то наплывая друг на друга, то разделяясь.

Идея Сесилии состояла в том, чтобы, перегнувшись через край и придерживая цветы, боком погрузить вазу в воду, но в этот момент Робби, стараясь заглазить вину, попытался ей помочь.

– Дай мне, – сказал он, протягивая руку. – Достань цветы, а я наберу воду.

– Спасибо, сама справлюсь, – ответила она, уже держа вазу над водой.

– Послушай, твоя папироса намокнет, давай я ее возьму. – Он действительно зажал папиросу между большим и указательным пальцами. – И достань цветы.

Это уже была команда, в которой прозвучала непререкаемая мужская властность. Она произвела на Сесилию прямо противоположный эффект и заставила лишь крепче сжать вазу. У нее не было ни времени, ни желания объяснять, что, если погрузить вазу в воду вместе с цветами, это придаст букету естественно-небрежный вид, чего она и добивалась. Крепче стиснув вазу, она всем телом отвернулась от Робби. Но от него не так просто было отделаться. Со звуком, напоминающим хруст треснувшей ветки, кусок фарфорового горлышка отломился под ее рукой и развалился на два треугольных осколка, которые упали в воду и, синхронно колеблясь, стали опускаться вниз, пока не легли на дно в нескольких дюймах один от другого, изгибаясь в преломляющей изображении воде.

Сесилия и Робби застыли. Их глаза встретились, и то, что она прочла в оранжево-зеленом меланже его мрачного взгляда, было не испугом, не чувством вины, а скорее своего рода вызовом или даже триумфом. У нее хватило присутствия духа поставить вазу с отбитым краем горлышка на ступеньку, прежде чем осмыслить значение случившегося. Она испытывала невыразимое удовольствие, даже восторг, потому что чем ужаснее было происшествие, тем хуже

для Робби. О, ее покойный дядя, дражайший брат отца, о, опустошительная война, опасный переход через реку, о, реликвия, не имеющая цены, о, героизм и милосердие, о, долгая история вазы, насчитывающая не один век и восходящая не только к гению Херолдта, но еще дальше, к тайнам мастеров, возродивших искусство вааяния из фарфора!

– Идиот! Смотри, что ты наделал!

Робби посмотрел на воду, потом снова перевел взгляд на Сесилию и, качая головой, прикрыл рот ладонью. Этим жестом он полностью признавал свою ответственность, но в тот миг она ненавидела его за неадекватность реакции. Снова взглянув на дно фонтана, он вздохнул. Ему показалось, что Сесилия собирается сделать шаг назад и при этом неизбежно наступит на вазу, поэтому он поднял руку и предостерег ее жестом. При этом он не произнес ни слова, а начал расстегивать рубашку, и она поняла, что он собирается делать. Этого она не допустит. Раз, приходя к ним в дом, он снимает ботинки и носки, она ему тоже покажет! Скинув босоножки, Сесилия расстегнула блузку, сбросила ее, затем расстегнула юбку и, переступив через нее, направилась к фонтану. Робби стоял, упершись руками в бедра, и наблюдал, как она, в одном белье, перелезает через край бассейна. Отказ от его помощи и любых попыток примирения был наказанием ему. Неожиданно холодная вода, от которой у нее захватило дух, тоже была наказанием ему. Задержав дыхание, Сесилия нырнула, волосы веером покрыли поверхность воды. Если бы она утонула, это тоже было бы наказанием ему.

Когда через несколько мгновений она вынырнула, держа в обеих руках по осколку вазы, он не решился предложить ей помощь. Хрупкая бледная нимфа, низвергающая каскады воды гораздо эффектнее, чем мясистый Тритон, аккуратно положила осколки рядом с вазой и быстро оделась, с трудом просунув мокрые руки в шелковые рукава, и, не застегивая, а лишь заткнув блузку за пояс юбки, подхватила босоножки, пристроила их под мышку, опустила осколки в карман и взяла вазу. Движения ее были свирепы и стремительны, она старательно избегала его взгляда. Он просто перестал существовать для нее, превратился в изгоя, и это тоже было наказанием ему. Робби молчаливо наблюдал, как Сесилия босиком удаляется по лужайке и ее потемневшие волосы, тяжело облепившие плечи, пропитывают водой блузку. Потом, оглянувшись, проверил, не осталось ли в воде не замеченных ею осколков. Что-либо рассмотреть было почти невозможно, потому что взбаламученная вода не успела успокоиться – ее все еще тревожил витающий в воздухе гнев Сесилии. Он положил ладонь на поверхность, чтобы утихомирить воду. А Сесилия тем временем скрылась в доме.

### III

Согласно выставленной в вестибюле афише, премьера «Злоключений Арабеллы» должна была состояться через день после первой репетиции. Однако драматургу-режиссеру было не так-то просто найти промежуток времени, когда все могли бы сосредоточиться на работе над пьесой. Так же как и в предыдущий день, ей долго не удавалось собрать всех исполнителей. Ночью неумолимый отец Арабеллы, Джексон, промочил постель, как это случается с нервными маленькими мальчиками, оказавшимися вдали от дома, и, согласно существующим правилам воспитания, был обязан отнести свои простыни и пижаму вниз, в прачечную, и лично выстирать их вручную под присмотром Бетти, которой было велено не вмешиваться. Мальчику объяснили, что это не наказание, просто в его подсознании отложится, что повторение подобной оплошности чревато неудобством и тяжелой работой; но Джексон все равно невольно воспринимал это как тяжкую повинность, стоя в глубокой каменной ванне, края которой доходили ему до груди; мыльная пена сползала по голым рукам и пропитывала подвернутые рукава рубашки, мокрые простыни были тяжелыми, как мертвая собака, и ощущение несчастья парализовало его волю. Брайони то и дело бегала вниз, чтобы проверить, как идет дело. Помогать Джексону ей запретили, а тот, разумеется, никогда в жизни ничего не стирал. Повторное намыливание,



бесконечные полоскания и упорная борьба с отжимным катком, за который ему приходилось цепляться обеими руками, плюс пятнадцать минут, проведенные после этого на кухне, где он дрожащими руками подносил ко рту намазанный маслом хлеб, запивая водой, отняли два часа от репетиционного времени.

Бетти сказала Хардмену, когда тот пришел с утреннего зноя за своей пинтой эля, что с нее довольно и того, что приходится в такую погоду париться у плиты, готовя ужин для гостей, что она считает подобное обращение слишком жестоким и предпочла бы отшлепать провинившегося и собственноручно выстирать простыни. Для Брайони это тоже было бы куда лучше, поскольку время безвозвратно уходило. Когда мама спустилась, чтобы лично проверить, как выполнена работа, все испытали облегчение, а миссис Толлис – подсознательное чувство вины, вследствие чего, когда Джексон тоненьким голоском спросил, можно ли ему, а также его брату теперь поплавать в бассейне, просьба его была немедленно удовлетворена, а возражения Брайони мягко отклонены. При чем мама говорила с таким видом, словно Брайони пыталась возложить непосильное бремя на хрупкие плечи незащитного малыша. Итак, последовало плавание в бассейне, а затем предстоял обед.

Репетиции продолжались без Джексона, что не позволяло довести до совершенства очень важную первую сцену – отъезд Арабеллы. Пьеро же слишком тревожился за судьбу брата, заточенного где-то во чреве дома, чтобы справляться с ролью подлого графа-иностранца: что бы ни случилось с Джексон, это неминуемо должно было отразиться и на Пьеро. Он то и дело бегал в туалет, расположенный в конце коридора.

Когда Брайони вернулась после очередного визита в прачечную, Пьеро спросил у нее:

– Его отшлепали?

– Пока нет.

Подобно брату, Пьеро умудрялся лишать свой текст какого бы то ни было смысла. Его реплики звучали монотонно, как одно длинное слово: «Ты-ду-маешь-что-можешь-вырваться-из-моих-когтей». Все на месте, все правильно, но...

– Это вопрос, – объясняла Брайони. – Разве ты не понимаешь? Интонация в конце поднимается вверх.

– Что это значит?

– Ничего. Просто повторяй за мной. Начинаешь низко, а заканчиваешь высоко. Это же *вопрос*.

Пьеро тяжело сглатывал, набирал полную грудь воздуха и предпринимал новую попытку, на сей раз воспроизводя ту же цепочку слов, но в более высокой тональности.

– В конце! Повышать интонацию нужно только в конце!

Джексон опять бубнил все в прежней тональности, но на последнем слоге изображал этаким тиро́льский йодль.

Лола утром явилась в детскую в образе взрослой девушки, каковой в душе себя и считала. На ней были фланелевые брюки со складками, пышные на бедрах и расклешенные книзу, и кашемировый свитерок с короткими рукавами. Другими знаками зрелости призваны были служить бархотка с мелкими жемчужинами, рыжие локоны, собранные на затылке и скрепленные изумрудно-зеленой заколкой, три серебряных браслета, свободно болтающиеся на хрупком запястье, и тот факт, что при каждом ее движении ощущался аромат розовой воды. Ее нарочито сдержанная снисходительность была заметна все сильнее. Лола равнодушно выполняла указания Брайони, произносила написанный той текст, который, судя по всему, за ночь выучила наизусть, довольно выразительно и мягко подбадривала младшего брата, не посягая на авторитет режиссера. Это было похоже на то, как если бы Сесилия или даже мама согласились потратить некоторое время на малышей, исполняя одну из ролей в пьесе и стараясь не проявить при этом ни малейшего признака скуки. Чего здесь не хватало, так это непосредственного детского энтузиазма. Когда накануне Брайони показала кузенам и кухне кассовую

будку и коробку для пожертвований, близнецы чуть не передрались друг с другом за роль кассира, а Лола лишь, сложив руки на груди, по-взрослому, с едва заметной улыбкой, слишком неопределенной, чтобы заподозрить в ней иронию, сделала вежливый комплимент:

– Как чудесно, Брайони. И как умно было с твоей стороны подумать об этом. Неужели ты все это сделала сама?

Брайони подозревала, что за безупречными манерами кухни таится какой-то губительный замысел. Возможно, Лола полагалась на то, что близнецы неизбежно провалят пьесу и ей останется лишь наблюдать, стоя в сторонке.

Эти недоказуемые подозрения, пленение Джексона в прачечной, жалкая декламация Пьеро и утренняя жара угнетали Брайони. Она рассердилась, заметив, что Дэнни Хардмен, стоя в дверях, наблюдает за репетицией. Пришлось попросить его уйти. Она не могла преодолеть отчужденность Лолы, не могла добиться от Пьеро нормальных модуляций голоса. И каким облегчением показалось ей одиночество, когда Лола заявила, что непременно хочет поправить прическу, а ее брат попросил разрешения в очередной раз сбежать в конец коридора, в туалет или куда-то еще.

Брайони уселась на пол, прислонившись спиной к дверце высокого встроенного шкафа для игрушек, и стала обмахиваться страничками с текстом пьесы. В доме царила полная тишина – снизу не доносилось ни голосов, ни звука шагов, даже урчания в водопроводных трубах не было слышно; пойманная между рамами окна муха, обессилев, прекратила попытки вырваться, и тягучее пение птиц растворилось в дневной жаре. Поджав ноги, Брайони устала на белые складки своего муслинового платья и привычную, чуть сморщенную кожу вокруг коленок. Надо было утром переодеться. Следовало бы, по примеру Лолы, вообще уделять больше внимания внешности. Пренебрегать ею – ребячество. Но каких это требовало усилий! Тишина звенела у Брайони в ушах, и все слегка искажалось перед глазами – руки, обхватившие колени, казались неестественно большими и одновременно удаленными, словно она смотрела на них с огромного расстояния.

Подняв ладонку и согнув пальцы, Брайони, как уже случалось прежде, удивилась тому, что этот предмет, этот механизм для хватания, этот мускулистый паук на конце ее руки принадлежит ей и полностью подчиняется ее командам. Или все же у него есть и какая-то собственная жизнь? Она разогнула и снова согнула пальцы. Волшебство заключалось в моменте, предшествовавшем движению, когда мысленный посыл превращался в действие. Это напоминало накатывающую волну. «Если бы только удалось удержаться на гребне, – подумала она, – можно было бы разгадать секрет самой себя, той части себя, которая на деле за все отвечает». Она поднесла к лицу указательный палец, уставившись на него, приказала ему пошевелиться. Он остался неподвижен, потому что она притворялась, не была серьезна, а также потому, что приказать ему пошевелиться или намереваться пошевелить им не одно и то же. А когда Брайони наконец все же согнула палец, ей показалось, будто действие это исходит из него самого, а не из какой-то точки ее мозга. В какой момент палец понял, что нужно согнуться? И когда она поняла, что хочет его согнуть? Этот момент был неуловим. Вот палец прямой – а вот уже согнут. Не было видно никаких стежков, никаких швов на коже, и все же она знала, что под этой гладкой, сплошной поверхностью находится истинная сущность – может быть, душа? – которая приняла решение прекратить притворяться и дала окончательную команду.

Эти мысли были ей так же близки и так же успокаивали ее, как знакомая форма собственных коленок, таких похожих, но словно соревнующихся друг с другом, симметричных и взаимодополняемых. Одна мысль неизбежно тянет за собой другую, одно чудо рождает другое: интересно, все остальные чувствуют в себе жизнь так же, как она? Например, ощущает ли себя ее сестра так же, как она, оценивает ли она себя так же, как она? Является ли Сесилия таким же ярким сгустком жизни, как Брайони? Есть ли у ее сестры такая же истинная сущность, кроющаяся за набегающей волной, и размышляет ли она об этом, поднеся палец к лицу? Делают ли

это все, включая отца, Бетти, Хардмена? Если да, то мир, мир людей, должен быть невыносимо сложным – ведь в нем два миллиарда голосов, и мысли каждого соревнуются в важности, и требования каждого к жизни у всех равно настоятельны, и каждый думает, что он неповторим, между тем как все одинаковы. Так можно утонуть в несоответствиях! Но если ответ – нет, тогда Брайони окружают механизмы, весьма умные и приятные внешне, но лишённые тех ярких и сугубо личных *внутренних* ощущений, какие есть у нее. Это было слишком мрачно, тоскливо и не похоже на правду. Ибо, как бы это ни оскорбляло ее чувство порядка, она знала: вероятнее всего, остальные испытывают то же, что и она. Она понимала это, но только холодным рассудком, ее чувств это не затрагивало.

Репетиции тоже стали надругательством над ее чувством порядка. Самодостаточный мир, который она четко обрисовала ясными и совершенными линиями, был обезображен неряшливыми мазками потребностей и мыслей других людей; время, легко расчлененное на бумаге на акты и сцены, неуправляемо утекало, даже в этот самый момент. Вероятно, Джексон появится только после обеда. Леон с приятелем приедут в самом начале вечера или того раньше, представление назначено на семь часов, а у нее, в сущности, не было еще ни одной полноценной репетиции. Близнецы не только играть, но даже и говорить-то как следует не умели. Лола украла у нее по праву принадлежащую ей роль. Ничего не получается, к тому же жарко, одуряюще жарко. Все это подавляло Брайони, она поежилась и встала. В пыли паркетного бордюра она испачкала руки и юбку сзади. Все еще погруженная в свои мысли, она направилась к окну, по пути вытирая ладони о платье. Простейшим способом произвести впечатление на Леона было бы сочинить рассказ, вручить ему и понаблюдать, как он станет его читать. Красочная обложка, красиво написанное заглавие, страницы *сшиты* — в самом этом слове заключалась для нее магия порядка, ограниченной и управляемой формы, которой она лишила себя, решив писать пьесу.

Рассказ – прямая и простая форма, не терпящая никакого зазора между автором и читателем, никаких посредников с их амбициями и бесталанностью, никакого недостатка времени, никаких ограничений в аксессуарах. Когда речь идет о рассказе, нужно лишь захотеть, потом написать – и мир в твоих руках; с пьесой все по-другому – ты вынужден обходиться тем, что есть в наличии, никаких лошадей, деревенских улочек, никакого морского побережья. И занавеса тоже нет. Теперь это казалось столь очевидным: рассказ – разновидность телепатии. Но было поздно. Просто перенося буквы на бумагу, она могла непосредственно пересылать читателю свои мысли и чувства. Это был волшебный процесс, настолько банальный, что не перестаешь удивляться. Прочешь фразу и понять ее – одно и то же; это как со сгибанием пальца: нет ничего между. Никакого зазора для разгадывания букв. Видишь слово *замок*, и вот он перед тобой, в некотором удалении, а перед ним – летний лес, окутанный редким голубоватым дымком, поднимающимся над кузней, и петляющая мощеная дорога, убегающая в зеленую тень...

Брайони подошла к створчатому окну детской и, должно быть, несколько минут стояла, слепо уставившись в него, прежде чем открывающийся перед ней вид начал проникать в сознание: глядя вдаль, можно было представить, что находишься в средневековом замке. В нескольких милях за поместьем Толлисов возвышались Суррейские холмы, поросшие недвижимыми купами дубов с густыми раскидистыми кронами, изумрудную яркость которых скрадывало молочное знойное марево. Чуть ближе простирался усадебный парк, казавшийся сейчас сухим, одичалым и выгоревшим, как саванна; разрозненные деревья отбрасывали коренастые, четко очерченные тени, а высокая трава уже подернулась львиной желтизной лета в зените. Перед ним, по эту сторону балюстрады, раскинулся розарий, а еще ближе виднелся фонтан «Тритон». У поддерживавшей его чашу опоры лицом к лицу стояли ее сестра и Робби Тернер. В их позах угадывалась некая торжественность: ноги слегка расставлены, головы гордо подняты. Предложение руки и сердца? Брайони это несколько не удивило бы. Она как-то написала сказку, в которой скромный дровосек спас тонущую принцессу и дело кончилось свадьбой. То, что про-

исходило у фонтана, весьма напоминало сцену предложения. Робби Тернер, единственный сын бедной уборщицы и ее никому не ведомого мужа, Робби, который и в школе, и в университете учился за счет отца Брайони, Робби, еще недавно мечтавший стать ландшафтным дизайнером, а теперь решивший заняться медициной, имеет безрассудную смелость просить руки Сесилии. Идеальный сюжет – в подобном преодолении преград для Брайони и состоял смысл романтики.

Менее понятно, однако, было то, как надменно вдруг Робби вскинул руку, словно что-то повелевая Сесилии. Удивительно, но, судя по всему, сестра была не в состоянии противиться Робби. Вероятно, по его повелению она начала раздеваться, причем очень поспешно. Вот она уже сбросила блузку, вот соскользнула на землю ее юбка, через которую она быстро перешагнула, а он все стоял, упершись руками в бедра, и нетерпеливо смотрел на нее. Что за странная у него над ней власть? Шантаж? Угрозы? Всплеснув руками, Брайони отступила внутрь комнаты. «Надо закрыть глаза, – подумала она, – чтобы не видеть позора сестры». Но это было выше ее сил, потому что сюрпризы на этом не закончились. Покорная Сесилия, в одном белье, стала перелезать через край бассейна, вот она уже по пояс в воде, зажала нос... и исчезла. В поле зрения остался только Робби да еще одежда на гальке, а вдаль – парк, замерший на фоне голубоватых холмов.

Развитие событий казалось совершенно нелогичным – сцена спасения утопающей героини должна предшествовать брачному предложению. Это последнее, о чем успела подумать Брайони, прежде чем отдала себе отчет в том, что ничего не понимает и нужно просто наблюдать за происходящим. Никем не замеченная, с высоты второго этажа, имея преимущество ясного, освещенного солнцем обзора, она неожиданно получила доступ к тому, от чего ее еще отделяли годы: к действиям взрослых, определяемым ритуалами и условностями, о которых она пока не имела понятия. Очевидно, между взрослыми случается и такое. Несмотря на то что голова ее сестры – слава богу! – наконец показалась над водой, Брайони посетила смутная догадка: волшебная сказка с замками и принцессами для нее закончилась, пришло время реальности. А в этой реальности между людьми, обычными, знакомыми ей людьми, происходит много странного: одни имеют необъяснимую власть над другими, и очень легко воспринять увиденное в неверном, совершенно превратном свете.

Сесилия, выбравшись из фонтана, уже застегивала юбку и с трудом натягивала блузку на мокрое тело. Потом она резко повернулась, подняла со ступеньки, утопающей в глубокой тени, вазу с цветами, которую Брайони прежде не заметила, и бросилась к дому. Она не обмолвилась с Робби ни словом, даже не взглянула в его сторону. А он постоял, глядя на воду, и, несомненно, довольный, тоже зашагал прочь, свернув в конце аллеи за угол дома. Сцена внезапно опустела, единственным напоминанием о том, что там вообще что-то произошло, осталось мокрое пятно на месте, где Сесилия вылезла из бассейна.

Прислонившись к стене, Брайони невидящим взором уставилась в противоположный конец детской. Каким искушением было придать всему волшебнo-драматический поворот, взглянуть на то, чему она оказалась свидетельницей, как на живую картинку, разыгранную для нее одной, как на окутанную тайной поучительную сценку! Но она прекрасно понимала, что, не оказавшись она там, где оказалась, все произошло бы и без нее, поскольку это была не ее пьеса. Слепой случай привел ее к окну. Это не волшебная сказка, это реальность, взрослый мир, в котором лягушки не разговаривают с принцами, а словами обмениваются одни лишь люди. Ее подмывало побежать в комнату Сесилии и попросить объяснений. Но Брайони медлила – ей хотелось задержать еще хоть на миг то волнение от приоткрывшейся неизвестности, которое она только что испытала, то неуловимое возбуждение, смысл которого она должна была вот-вот уловить, хотя бы эмоционально. Этот смысл прояснится только через годы. Надо признать, здесь требуются неторопливость и глубина размышлений, едва ли доступные тринадцатилетней девочке. В тот момент она просто не могла найти точных слов и, вполне вероятно, лишь остро испытывала безотлагательную потребность снова засесть за свои писания.



В ожидании возвращения кузенов Брайони думала, что может сочинить сцену у фонтана, подобную той, что недавно наблюдала, включив в нее тайного соглядатая, коим явилась сама. Она отчетливо представила, как спешит к себе в комнату, к стопке чистых разлинованных листов бумаги и бакелитовой авторучке, расписанной под мрамор. Мысленным взором она видела простые предложения, цепочку многозначительных символов, остающихся за скользящим пером. Она могла написать эту сцену в трех вариантах, с трех разных точек зрения; ее возбуждало предвкушение полной свободы, избавления от обременительной необходимости сталкивать добро со злом, героев со злодеями. Ни один из трех персонажей не был ни плохим, ни особо хорошим. И от нее не требовалось судить их. Рассказ не предполагал морали. Ей было необходимо просто показать разные способы мышления, такого же яркого, как ее собственное, еще противившееся признанию того, что у каждого – своя живая ментальность. Несчастливыми людей делают не только порочность и интриги, недоразумения и неправильное понимание, прежде всего таковыми их делает неспособность понять простую истину: другие люди так же реальны. И только сочиняя рассказ, можно проникнуть в иной образ мышления и показать, что он равноценен всем прочим. Вот единственная мораль, которая может заключаться в рассказе.

Шестьдесят лет спустя Брайони опишет, как в тринадцатилетнем возрасте прошла в своих писаниях весь путь развития литературы: от рассказов, основанных на европейской традиции народных сказок, через бесхитростные нравоучительные пьески к беспристрастному психологическому реализму, который открыла для себя однажды знойным утром 1935 года. Она будет отдавать себе полный отчет в некоторой мифологизации собственных воспоминаний и придаст повествованию оттенок самоиронии. Ее проза будет славиться отсутствием нравоучительности, и, как все писатели, преодолеваемые одним и тем же вопросом, она будет чувствовать себя обязанной выстроить сюжет своей жизни, цепочку собственного развития, в которой присутствовало сакраментальное звено – момент, когда она обрела себя самое. Она будет понимать, что неуместно говорить о ее драматических опытах во множественном числе, что ирония создает дистанцию между ней и той серьезной, много думавшей девочкой, какой она была в детстве, и что воспоминание, так часто ее посещающее, есть не столько собственно воспоминание о том давнем утре, сколько ее последующие размышления о нем. Вполне вероятно, что созерцание согнутого пальца, попытки осознания невыносимой идеи о существовании отличных образов мышления и заключение о превосходстве рассказа над драмой – все это восходит к разным дням. Она будет также понимать: независимо от того, какие события произошли в действительности, их значимость отныне проистекает только из ее опубликованного произведения, вне связи с которым о них никто и не вспомнит.

Тем не менее чистой выдумкой это быть не могло; без сомнения, некое откровение в то утро на нее действительно снизошло. Когда Брайони снова подошла к окну и посмотрела вниз, мокрое пятно уже испарилось. Больше ничего не осталось от немой сцены у фонтана, сохранившейся лишь в памяти, в самостоятельных, перекрывающих друг друга воспоминаниях трех действующих лиц. Истина превратилась в такой же мираж, как выдумка. Принимая вызов и описывая все так, как увидела, Брайони могла уже не осуждать сестру за шокирующую полунаготу, в какой та предстала среди бела дня в двух шагах от дома. Потом можно будет показать эту сцену по-иному, с точки зрения Сесилии, а еще позже – с точки зрения Робби. Но теперь не время для писаний. Чувство долга и привычка Брайони к порядку оказались непобедимы; она должна завершить начатое – предстояло закончить репетицию, ведь Леон уже в пути и домашние ожидают вечернего представления. Нужно еще раз спуститься в прачечную и посмотреть, позади ли злключения Джексона. С сочинительством можно повременить до той поры, когда она освободится.

## IV

Лишь к вечеру Сесилия решила, что реставрацию вазы можно считать завершённой. Вторую половину дня ваза сушилась в библиотеке, на столе возле окна, выходящего на юг, и теперь на эмали виднелись лишь три тонкие извилистые линии, сливающиеся, как речные притоки в географическом атласе. Никто никогда ничего не узнает. Проходя через библиотеку с вазой, которую сжимала обеими руками, Сесилия слышала из-за двери звук, напоминающий шлепанье босых ног по кафельным плитам. Вот уже несколько часов она заставляла себя не думать о Робби Тернере и теперь рассердилась, решив, что тот явился в дом и снял носки. Она вышла в холл, полная решимости на сей раз не спустить ему нахальства, а может, и издевательства, но внезапно столкнулась с сестрой, явно пребывавшей в отчаянии. Веки Брайони вспухли и покраснели, и она пощипывала большим и указательным пальцами нижнюю губу, что всегда было у девочки предвестием слез.

– Милая! Что случилось?

На самом деле глаза у Брайони пока были сухими; покосившись на вазу, она прошла мимо, туда, где на мольберте стояла афиша с выписанными разноцветными красками весело пляшущими буквами и разбросанными вокруг них акварельными картинками в стиле Шагала, представлявшими эпизоды из ее пьесы: машущие руками вслед дочери родители с глазами, полными слез, устремившиеся к морскому побережью героини в лунном сиянии, героиня на смертном одре, свадьба... Брайони с минуту постояла перед афишей, а потом одним яростным движением по диагонали рванула лист, отхватив больше половины, и бросила обрывок на пол. Поставив вазу, Сесилия подбежала, опустилась на колени и быстро подняла кусок афиши, прежде чем сестра успела истоптать его. Ей не впервой было спасать Брайони от саморазрушительных порывов.

– Сестренка! Это что, из-за кузенов?

Ей хотелось утешить Брайони, Сесилия вообще любила ласкать младшую сестренку. Когда та была маленькой и страдала ночными кошмарами – ох, как же она кричала по ночам! – Сесилия прибегала к ней в комнату и будила. «Проснись, – шептала она малышке. – Это всего лишь сон. Проснись». Потом переносила ее в свою кровать. Вот и теперь она попыталась обнять Брайони за плечи, но та, перестав пощипывать губу, решительно направилась к двери и положила руку на большую медную ручку в виде львиной головы, которую миссис Тернер только утром надраила до блеска.

– Кузены – дураки. Но это не из-за них. Это... – Она запнулась, сомневаясь, стоит ли делиться с сестрой своим недавним открытием.

Расправляя скомканный бумажный треугольник, Сесилия подумала: как изменилась ее маленькая сестренка. Ей было бы проще, если бы Брайони заплакала и позволила увести себя в гостиную, усадить на шелковый шезлонг и успокоить. Глядя сестру по головке и шепча слова утешения, Сесилия и сама, быть может, немного успокоилась бы после неудачного дня, изобиловавшего массой противоречивых чувств, о которых она предпочитала не думать. Занявшись проблемами Брайони, осыпая ее нежными словами и ласками, она могла бы снова ощутить уверенность в себе. Однако в том, как переживала свое несчастье младшая сестра, была и значительная доля самостоятельности. Повернувшись к Сесилии спиной, Брайони уже открывала входную дверь.

– Но тогда в чем же дело? – воскликнула Сесилия, поймав себя на том, что вопрос прозвучал немного заискивающе.

Поверх головы сестры, далеко за озером, там, где дорога сворачивала в парк, сужаясь и на подъеме сходясь в одной точке, показался движущийся предмет, очертания которого искажались в знойном мареве: он то увеличивался в размерах, то, сверкнув на солнце, уменьшался.

Должно быть, Хардмен, заявивший в свое время, что слишком стар, чтобы учиться водить автомобиль, вез гостей в двуколке.

Передумав, Брайони повернулась к Сесилии:

– Все это изначально было ошибкой. Это был неправильный... – Глубоко вдохнув, она отвела взгляд в сторону.

«Сигнал, – поняла Сесилия, – сейчас прозвучит еще одно книжное слово».

– Это был неправильный *жанр*! – Брайони выговорила слово, как ей казалось, с французским прононсом: в нос и почти полностью проглотив конечное «р».

– Жан? – переспросила Сесилия. – Что ты имеешь в виду?

Но Брайони уже удалялась, неуклюже ставя мягкие белые ступни на раскаленный гравий.

Сесилия отправилась в кухню, наполнила вазу водой и отнесла к себе в спальню, где в умывальнике плавали цветы. Когда она сунула их в вазу, букет снова отказался принять форму естественного беспорядка, какого она добивалась, а вместо этого образовал аккуратный круг: высокие стебли ровно распределились по краям. Она вынула букет и снова небрежно бросила его в вазу, цветы опять выстроились упорядоченно. Впрочем, это было не так уж и важно. Трудно представить, чтобы мистер Маршалл выразил неудовольствие по поводу излишней симметричности букета. Сесилия понесла вазу с цветами по скрипучим половицам длинного коридора в комнату, которую все называли комнатой тетушки Венеры, и поставила на комод рядом с кроватью, выполнив, таким образом, маленькое поручение, данное ей матерью утром, восемь часов назад.

Однако покинула она комнату не сразу, ибо не загроможденное личными вещами помещение производило весьма приятное впечатление, – если не считать комнаты Брайони, это была единственная прибранная спальня в доме. И здесь царила прохлада, потому что солнце уже зашло за дом. Ящики комода пустовали, и ни на одной свободной поверхности не виднелось следов пальцев. Под покрывалом из набивного индийского ситца наверняка были застелены накрахмаленные чистые простыни. Сесилии захотелось сунуть руку под покрывало и пощупать их, но она сдержалась и стала медленно обходить комнату, предназначенную для мистера Маршалла. Стоявшая у изножья кровати с балдахином чиппендейловская софа была такой гладкой, что сесть на нее представлялось кошунством. В воздухе витал запах воска, и мерцающая в медовом освещении мебель, казалось, дышала. При приближении Сесилии к старинному сундуку для приданого изображенные на его крышке бражники, увиденные ею в необычном ракурсе, словно изогнулись в танце. Должно быть, миссис Тернер прибрала здесь только сегодня утром. Сесилия постаралась отогнать мысли о Робби. То, что она задержалась здесь, было своего рода нарушением правил, поскольку будущий обитатель комнаты находился уже в нескольких сотнях ярдов от дома.

Выглянув из окна, Сесилия увидела, что Брайони, перейдя мостик, идет по острову вдоль заросшего травой берега и вот-вот исчезнет среди деревьев, окружающих храм. А чуть поодаль в двуколке позади Хардмена она рассмотрела две фигуры в шляпах. Потом Сесилия заметила третьего человека, широким шагом шедшего по дороге навстречу двуколке. Это, несомненно, был Робби Тернер, который возвращался домой. Поравнявшись с двуколкой, он остановился, и его силуэт слился с силуэтами гостей. Сесилия представила происходившую там сцену: мужчины похлопывают друг друга по плечам, а лошадь нетерпеливо приплясывает. Сесилия рассердилась, что ее брат радуется встрече с Робби, не зная, что тот в немилости у нее, и, с тяжелым вздохом отвернувшись от окна, отправилась к себе в комнату за сигаретой.

У нее еще оставалась пачка, но, чтобы найти ее в кармане синего шелкового платья, валявшегося на полу ванной, пришлось несколько минут раздраженно рыться в вещах, разбросанных в чудовищном беспорядке. Спускаясь по лестнице в холл, она закурила, отдавая себе отчет в том, что никогда не посмела бы этого сделать, будь дома отец. У него было четкое представление о том, где и когда женщине категорически запрещено курить: на улице или в ином

общественном месте, входя в комнату или стоя там. И делать это можно только тогда, когда женщине предлагают, курить собственные сигареты для нее недопустимо. Эти правила были непреложны, как законы природы. И даже три года, проведенные среди снобов Гертон-колледжа, не придали Сесилии смелости перечить отцу. Беззаботность и ирония, свойственные ей теперь в общении с друзьями, улетучивались без следа в его присутствии, и голос становился тонким, когда она – изредка – совсем робко пыталась ему возразить. Нужно сказать, Сесилия испытывала неловкость от того, что ее взгляды, даже касающиеся незначительных домашних дел, всегда расходились с отцовскими. И никакие примеры, почерпнутые из классической литературы, не помогали подавить обиду, и никакие уроки полезной критики не могли сподвигнуть ее на неповиновение. Курение на лестнице в те моменты, когда отец пребывал в министерстве на Уайтхолле, было единственной формой протеста, которую допускало ее воспитание, да и такой «бунт» требовал от нее немалой храбрости.

Когда она достигла широкой площадки, нависавшей над холлом, Леон как раз входил в дом с Полом Маршаллом через широко распахнутую дверь. Позади маячил Дэнни Хардмен с чемоданами. Старый Хардмен стоял снаружи, уставившись на зажатую в руке пятифунтовую бумажку. Косые солнечные лучи, отражавшиеся от гравия и преломленные сквозь стекла веерообразного окна над дверью, окрашивали холл в желтовато-оранжевый цвет и делали его похожим на рисунок, выполненный сепией. Сняв шляпы и улыбаясь, брат и его друг остановились, ожидая, когда спустится Сесилия. Как часто случалось при первой встрече с незнакомым еще мужчиной, она подумала: не за него ли ей суждено выйти замуж и не тот ли это момент, который ей предстоит помнить всю оставшуюся жизнь – то ли с благодарностью судьбе, то ли с глубоким прискорбием?

– Сес-илия! – воскликнул Леон.

Когда он обнял ее, она почувствовала сквозь ткань его пиджака вдавившуюся ей в ключицу авторучку, уловила запах трубачного табака, исходивший от его одежды, и с щемящим чувством припомнила свои визиты в мужское общежитие на чай, которые были, скорее всего, лишь утешительными визитами вежливости, но доставляли радость, особенно зимой.

Пол Маршалл, слегка склонив голову, пожал ей руку. Было нечто комичное в многозначительном выражении его лица. А первые слова прозвучали уныло-тривиально:

– Много о вас слышал.

– А я – о вас, – ответила Сесилия, хотя единственное, что ей припомнилось, был телефонный разговор с братом, состоявшийся несколько месяцев назад. Тогда они пытались вспомнить, приходилось ли им когда-нибудь есть шоколад «Амо», и обсуждали, доведется ли им его когда-нибудь попробовать.

– Эмилия лежит.

Едва ли была необходимость оповещать об этом. В детстве они уже с дальнего конца парка по затемненным окнам безошибочно угадывали, что у мамы приступ мигрени.

– А старик в городе?

– Он, может быть, приедет позже.

Сесилия ощущала на себе взгляд Маршалла, но, прежде чем взглянуть на него, ей нужно было придумать, что сказать.

– Дети готовили для вас театральное представление, но, судя по всему, затея сорвалась.

– Наверное, это вашу сестру я видел по дороге, у озера, – сказал Маршалл. – Ну и задала она жару крапиве!

Леон отступил в сторону, пропуская младшего Хардмена с вещами.

– Где мы устроим Пола?

– На втором этаже. – Сесилия чуть повернула голову в сторону Хардмена, как бы отдавая ему распоряжение.

Тот, держа в каждой руке по кожаному чемодану, достиг подножия лестницы и остановился, повернувшись к хозяевам, собравшимся в центре холла, пол которого был выложен черно-белой плиткой. Его лицо выражало смирение и непонимание. В последнее время Сесилия замечала, что он часто слоняется вокруг детей. Может, он равнодушен к Лоле? В свои шестнадцать лет Дэнни, разумеется, уже не был ребенком. Исчезла детская округлость щек, и младенчески пухлые губы вытянулись, придав лицу выражение невинной жестокости. Созвездие прыщей на лбу выглядело только что отчеканенной монетой, яркость которой слегка скрадывало сейчас желтовато-оранжевое освещение. Сесилия осознала, что весь день чувствует себя странно и видит все так, будто происходящее стало достоянием далекого прошлого, задним числом окрашенного иронией, суть которой она не совсем улавливала.

– В большой комнате рядом с детской, – терпеливо пояснила она молодому Хардмену.

– В комнате тетушки Венеры, – уточнил Леон.

Почти полвека тетушка Венера служила няней где-то на севере Канады. В сущности, она не приходилась теткой никому, вернее, была седьмой водой на киселе – тетей покойной троюродной сестры мистера Толлиса, но никто не подвергал сомнению ее право на комнату на втором этаже, где, став инвалидом и уйдя на пенсию, она, прикованная к постели, мирно жила, когда Сесилия и Леон были детьми, и, не высказав ни единой жалобы, тихо угасла, когда Сесилии было десять лет. Через неделю после ее смерти родилась Брайони.

Сесилия повела вновь прибывших через стеклянную дверь гостиной в розарий, а оттуда – к плавательному бассейну, находившемуся позади конюшни и со всех сторон окруженному густыми зарослями бамбука. В бамбуковых зарослях был прорублен узкий коридор для входа, через него они и проследовали, опуская головы, чтобы не задеть низко склонявшиеся стебли, и вышли на террасу, выложенную ослепительно белым камнем, от которого волнами исходили потоки знойного воздуха. Там, в глубокой тени, на приличном расстоянии от воды, стоял обитый железом и выкрашенный белой краской стол, а на нем – чаша, наполненная пуншем со льдом и прикрытая марлей.

Леон расставил полукругом складные парусиновые стулья, и все уселись лицом к воде. Маршалл, оказавшийся между Леоном и Сесилией, начал разговор десятиминутным монологом. Он разглагольствовал о том, как замечательно оказаться вдали от города, в деревенской тиши, на свежем воздухе. Он купил огромный дом в Клэпем-Коммон, так у него даже нет времени туда съездить. Вот уже девять месяцев каждую минуту, пока он метался между главным управлением, залом заседаний совета директоров и фабричными складами, его неотступно преследовало предчувствие. Проект «Радуга "Амо"» в конце концов обернулся фантастическим успехом, однако этому предшествовали разные неприятности, связанные с торговлей, которые теперь благополучно улажены; рекламная кампания возмутила некоторых престарелых епископов, поэтому пришлось все придумывать заново. Потом начались проблемы, явившиеся следствием самого успеха и связанные с невероятным уровнем продаж, новыми квотами на производство, необходимостью сверхурочных работ и поисками места для строительства новой фабрики, – последнее вызвало недовольство четырех вовлеченных в проект профсоюзов, так что пришлось их ублажать и уговаривать, как детей. И вот теперь, когда желанная цель, казалось бы, окончательно достигнута, забрезжила перспектива нового, военного проекта – выпуска плиток в обертках цвета хаки с лозунгом «Дорогу "Амо"!». Проект основан на предположении или предчувствии, что расходы на вооруженные силы будут увеличиваться, если мистер Гитлер в ближайшее время не заткнется; вполне вероятно даже, что этот шоколад станет обязательной составляющей стандартного солдатского пайка. В случае всеобщей мобилизации понадобится еще пять фабрик; в совете директоров кое-кто считает, что с Германией нужно договариваться и такая договоренность рано или поздно будет достигнута, поэтому, мол, военный проект «Амо» – пшик. Нашелся даже один, который обвинил его, Маршалла, в разжигании войны. Но как бы он ни устал и как бы ни старались его опорочить, он не свернет с

пути и будет верить в свою интуицию. В заключение он повторил, как замечательно отвлечься от всего этого, оказавшись на природе, где можно перевести дух.

В течение нескольких первых минут его пламенной речи Сесилия испытывала приятное томление, представляя, как убийственно прекрасно, почти эротично было бы выйти замуж за мужчину, почти красавца, немыслимого богача и непроходимого дурака. Он бы наградил ее круглолицыми детьми, такими же громогласными, как он сам, тупоголовыми мальчишками, обожающими ружья, футбол и самолеты. Она обозрела его профиль, когда он, продолжая вещать, повернулся к Леону: длинная мышца вдоль скулы подергивалась. Над бровью торчало несколько выбившихся из нее черных завитков, в ушной раковине виднелась такая же черная поросль, забавно курчавая, как лобковый кустик. Ему бы следовало обратить на это внимание своего парикмахера.

Она чуть-чуть перевела взгляд, и в поле ее зрения попало лицо Леона – тот вежливо внимал другу, старательно избегая взгляда сестры. В детстве они любили «пытать» друг друга взглядами во время обедов, которые их родители по воскресеньям устраивали для пожилых родственников. Это были торжественные мероприятия, по случаю которых стол сервировали старинным серебром; почтенные двоюродные бабушки и дедушки, а также прадедушки и прабабушки с материнской стороны были истинными викторианцами, людьми суровыми и не от мира сего, потерянное племя в черных одеждах, уже лет двадцать к тому времени с брюзжанием тащившееся по чуждому им фривольному веку. На десятилетнюю Сесилию и ее двенадцатилетнего брата они наводили благоговейный ужас, в любой момент способный превратиться в приступ неконтролируемого нервного смеха. Тот из них, кто не сумел избежать взгляда другого, был беззащитен, тот, кто гипнотизировал, – неуязвим. Обычно победителем оказывался Леон, умевший принять издевательски страдальческий вид, опустив уголки губ и закатив глаза. Он мог невиннейшим тоном попросить Сесилию передать ему соль, и, как бы она ни отводила при этом взгляд, как бы ни отворачивалась, как бы ни задерживала дыхание, все равно отчетливо представляла его гримасу. Это часа на полтора повергало ее в корчи, сопровождавшиеся сдавленным кваканьем. Все это время Леон мог ощущать себя в безопасности, следовало лишь подзаводить сестру время от времени, когда ему казалось, что она начинает справляться с приступом смеха. Лишь изредка и ей удавалось спровоцировать его, изобразив надменную напыщенность. Поскольку иногда детей сажали за стол вместе со взрослыми, возникала серьезная опасность – за гримасничанье во время обеда можно было схлопотать взбучку и раньше времени отправиться в постель. Хитрость заключалась в том, чтобы успеть скорчить рожу между, скажем, облизываньем губ и широкой улыбкой, перехватив при этом взгляд другого. Однажды они одновременно подняли голову и состроили друг другу такие физиономии, что у Леона суп брызнул изо рта и ноздрей прямо на запястье двоюродной бабушки. Обоих детей выгнали из-за стола и до конца дня каждого заперли в своей комнате.

Сесилии безумно хотелось подсесть к брату и сообщить ему, что у мистера Маршалла из ушей растут лобковые кудряшки. Тот как раз рассказывал о ссоре во время заседания совета директоров с человеком, назвавшим его поджигателем войны. Сесилия приподняла руку, будто хотела поправить прическу, это движение привлекло внимание Леона, и тут-то она изобразила гримасу, какой он не видел больше десяти лет. Бедный Леон стиснул губы, отвернулся и, наклонившись, сделал вид, что рассматривает что-то на земле возле своей туфли. Когда Маршалл снова повернулся к Сесилии, Леон прикрыл лицо ладонью, однако от сестры не укрылось, как судорожно вздрагивали его плечи. К счастью для Леона, Маршалл уже подходил к заключительной части монолога:

– ...на природе, где можно перевести дух.

Леон мгновенно вскочил, подошел к краю бассейна и стал внимательно разглядывать мокрое красное полотенце, забытое кем-то возле доски для прыжков в воду. Через некоторое время, полностью овладев собой, он зашагал обратно, сунув руки в карманы.



– Угадай, кого мы встретили по дороге сюда, – сказал он Сесилии.

– Робби.

– Я пригласил его сегодня на ужин.

– Леон! Нет!

Брату явно хотелось подразнить ее – может, из чувства мести, – и он сказал, обращаясь к другу:

– Этот парень, сын уборщицы, оканчивает местную классическую школу, учится в Кембридже, заметь, одновременно с Си, а она все эти три года едва разговаривает с ним! Она на пушечный выстрел не подпускает его к своим роудинским<sup>2</sup> подружкам.

– Нужно было сначала меня спросить.

Она не могла скрыть раздражение, и, видя это, Маршалл примирительно заметил:

– Я знал в Оксфорде нескольких выпускников классических школ, некоторые были чертовски умны. Но порой они бывают излишне обидчивы, что выглядит немного смешно.

– У вас есть сигареты? – спросила Сесилия.

Маршалл протянул ей серебряный портсигар, потом достал одну сигарету для Леона и одну – для себя. Теперь все трое стояли, и, когда Сесилия наклонилась, чтобы прикурить от предложенной Маршаллом зажигалки, Леон сказал:

– У Робби первосортные мозги! Не понимаю, какого черта он копается в клумбах.

Усевшись на доску для прыжков в воду, Сесилия изо всех сил старалась продемонстрировать полное спокойствие, но голос ее звучал натянуто:

– Он подумывает о медицинском образовании. Леон, я не хотела бы, чтобы он приходил.

– И старик согласился? – Ее последнюю реплику Леон проигнорировал.

Она пожала плечами:

– Слушай, мне кажется, ты должен пойти сейчас к нему в бунгало и отменить приглашение.

Отошедший на противоположный конец бассейна, Леон смотрел на нее поверх мерно колыхавшейся маслянисто-голубой воды.

– Как, по-твоему, я могу это сделать?

– Мне все равно – как. Придумай благовидный предлог.

– Между вами что-то произошло?

– Нет, ничего.

– Он тебе докучает?

– Ради бога!

Сесилия раздраженно встала, направилась к павильону – открытому сооружению с тремя ребристыми колоннами – и, прислонившись к средней, стала наблюдать за братом, продолжая курить. Еще две минуты назад они были вместе, как заговорщики, и вот уже сцепились – детство и впрямь возвращается. Пол Маршалл стоял на полпути между ними, то и дело, как на теннисном матче, поворачивая голову то вправо, то влево, в зависимости от того, кто произносил фразу. Вид у него был безразличный, разве что чуть-чуть любопытствующий. Казалось, перепалка брата и сестры его ничуть не волновала. «Хоть это, по крайней мере, говорит в его пользу», – подумала Сесилия.

– Ты что, думаешь, он не умеет пользоваться ножом и вилок? – спросил Леон.

– Леон, прекрати. Это было не твое дело – приглашать его.

– Что за чушь!

Напряженность наступившей тишины разряжало лишь урчание насоса, фильтровавшего воду. Сесилия ничего не могла поделать, не могла заставить Леона что-нибудь предпринять, спорить было бесполезно, она это понимала. Она стояла в ленивой позе, опершись спиной

---

<sup>2</sup> Роудин-скул – одна из лучших женских частных средних школ близ Брайтона, графство Суссекс. Основана в 1885 г.

на теплый камень, докуривала сигарету и смотрела на усеченный в перспективе квадрат хлорированной воды, черную резиновую камеру колесного трактора, прислоненную к садовому стулу, двоих мужчин в льняных костюмах почти не отличавшихся кремовых оттенков, голубовато-серый сигаретный дымок на фоне бамбуковой зелени... Картина была четко прорисованной, неподвижной, и Сесилии снова показалось, что все это уже было, происходило давным-давно, и все последствия этого – от самых незначительных до грандиозных – predetermined. Что бы ни случилось в будущем, какими бы неестественно странными и шокирующими ни оказались грядущие события, они не покажутся ей удивительными и неожиданными, она всегда сможет сказать – самой себе, разумеется: «Ну да, конечно. Я так и знала».

– Знаешь, что я думаю? – тихо спросила она брата.

– Что?

– Нужно вернуться в дом, и ты приготовишь нам что-нибудь вкусненькое выпить.

Пол Маршалл радостно хлопнул в ладоши – звук, отразившись от задней стены павильона, повторился эхом между колоннами.

– Это то, в чем я действительно мастер! – провозгласил он. – Колотый лед, ром и расплавленный черный шоколад.

Сесилия и Леон при этом предложении быстро переглянулись, и ссора была забыта. Леон первым двинулся в сторону дома, Сесилия с Маршаллом – за ним. Когда они вместе проходили сквозь коридор в бамбуковых зарослях, Сесилия сказала:

– Вообще-то я предпочла бы что-нибудь более горькое или даже кислое.

Он, шедший первым, улыбнулся, протянул ей руку и остановился, пропуская ее вперед, словно они по всем правилам этикета входили в дверь. Поравнявшись с ним, она ощутила легкое прикосновение его пальцев к своему предплечью.

А может, по руке просто скользнул бамбуковый лист.

## V

Ни близнецы, ни Лола точно не знали, что заставило Брайони отменить репетицию. Поначалу они вообще не поняли, что она отменена. Лола и мальчики проигрывали сцену болезни, в которой Арабелла впервые знакомится на чердаке с принцем, скрывающимся под маской доброго доктора. Причем все шло вовсе не плохо, во всяком случае не хуже, чем обычно, близнецы произносили свой текст не более бессмысленно, чем всегда. Что касается Лолы, то, не желая ложиться на пол и опасаясь испачкать кашемировый свитер, она опустилась в кресло, что едва ли могло вызвать возражения режиссера. Старшая участница спектакля так упивалась собственным гордым смирением, что не допускала мысли о чем-либо недовольстве. Брайони, терпеливо объяснявшая Джексону, как нужно играть эту сцену, в какой-то момент замолчала, будто вдруг решила изменить что-то в своей трактовке, нахмурилась и неожиданно вышла из комнаты. Не было никаких кардинальных творческих расхождений между ними, никакого взрыва эмоций, никаких резких движений. Она просто повернулась и вышла, можно было подумать – в туалет. Остальные, не осознавшие, что всей затее пришел конец, ждали. Двойняшки старались изо всех сил, особенно Джексон, опасавшийся, что он все еще в немилости у Толлисов, и пытавшийся реабилитировать себя хотя бы перед Брайони.

В ожидании мальчики играли в футбол деревянным бруском, а их сестра смотрела в окно, тихо что-то напевая. Так прошло неизвестно сколько времени, и Лола решила наконец выйти. Пройдя до конца коридора, она увидела открытую дверь в пустую спальню. Из окна комнаты были видны подъездная аллея и озеро, за которым вздымался дрожащий столб света, добела раскаленного беспощадным дневным зноем. На фоне этого свечения рядом с островным храмом она заметила Брайони, стоявшую у кромки воды. Вполне вероятно, что она стояла даже в самой воде – из-за слепящего света трудно было сказать точно. Не похоже было,

чтобы она собиралась возвращаться. Уже выходя из комнаты, Лола увидела стоявший рядом с кроватью мужской чемодан из дубленой кожи, опоясанный широкими ремнями и облепленный вылинявшими багажными наклейками паровозных компаний. Это смутно напомнило ей об отце, и, замешкавшись возле чемодана, она уловила легкий запах паровозной гари. Нажав большим пальцем на один из замков, она сдвинула его. Отшлифованный металл был холодным, и от ее прикосновения на нем остались едва заметные следы быстро исчезающей влаги. Раздался короткий громкий щелчок, испугавший Лолу, и замок открылся. Она быстро нажала на него, чтобы закрыть снова, и поспешила прочь из комнаты.

Пауза затянулась, делать было нечего. Лола послала братьев вниз посмотреть, не свободен ли бассейн, – в присутствии взрослых мальчики чувствовали себя там неловко. Вернувшись, близнецы доложили, что там Сесилия с двумя взрослыми дядями. К этому времени Лола была уже не в детской, а в своей маленькой спальне – поправляла прическу перед зеркалом, прислоненным к стеклу на подоконнике. Плюхнувшись на ее узкую кровать, мальчики с громкими завываниями начали щекотать друг друга и бороться. Она не стала утруждать себя замечаниями и отсылать шалунов в их комнату. Поскольку репетиция прервалась, а бассейн был занят, они оказались неприкаянными. Их внезапно обуяла тоска по дому – Пьеро заявил, что голоден, до ужина оставалось еще несколько часов, но пойти попросить что-нибудь означало проявить невоспитанность. Кроме того, мальчики ни за что не решились бы даже заглянуть в кухню, поскольку суровый вид Бетти, которую они незадолго до того встретили на лестнице (она несла красные банные полотенца к ним в комнату), напугал их до полусмерти.

Чуть позже все трое снова очутились в детской – единственном месте, если не считать отведенных им спален, где они чувствовали себя уверенно. Обшарпанный синий брусок лежал там, где его оставили, и вообще все здесь было по-прежнему.

Близнецы праздно слонялись по комнате, пока Джексон наконец не заявил:

– Мне здесь не нравится.

Расстроенный этим открытием, Пьеро подошел к стене и ковырнул носком плинтус, словно заметил там нечто интересное.

Обняв его за плечи, Лола сказала:

– Все хорошо. Скоро мы поедем домой.

Рука сестры оказалась гораздо тоньше и легче, чем мамина, и мальчик захлопал носом, но совсем тихо, помня о том, что они в чужом доме, где правила приличий превыше всего.

У Джексона на глаза тоже навернулись слезы, но он пока мог говорить:

– Еще не скоро. Ты так говоришь, чтобы нас утешить. Мы не можем поехать домой, потому что... – Он сделал паузу, набираясь храбрости, и выпалил: – Потому что они разводятся!

Пьеро и Лола замерли. Это слово никогда не произносилось в присутствии детей, а тем более ими самими. В твердости его согласных заключалась какая-то немыслимая непристойность, а свистящее окончание словно оповещало весь мир о семейном позоре. Джексон и сам был смущен, но слово вылетело, и, как бы он теперь ни оправдывался, поступок его квалифицировался как преступление, равное чуть ли не самому разводу, что бы это понятие ни означало. А этого никто точно не знал, в том числе и Лола. По-кошачьи прищулив зеленые глаза, она стала надвигаться на брата:

– Как ты посмел это сказать!

– Но это ж правда, – пробормотал тот, отводя взгляд в сторону. Он уже понял, что попал в беду, что действительно виноват и придется поплатиться.

Сестра, схватив его за ухо, наклонилась к нему.

– Если ты меня ударишь, я расскажу родителям, – быстро проговорил мальчик, но тут же сам почувствовал бесполезность магического прежде слова, поверженного тотема утраченного золотого века.

– Никогда, слышишь, никогда больше не смей говорить это. Ты меня понял?  
Сгорая от стыда, он кивнул, и сестра отпустила его.

От потрясения мальчики даже не могли плакать, и Пьеро, всегда стремившийся побыстрее загладить неловкость, бодро спросил:

– Что будем делать?

– Сама хотела бы знать, – ответила Лола.

Только теперь они заметили высокого мужчину в белом костюме, который, должно быть, стоял в дверях уже давно и мог слышать, как Джексон произнес запретное слово. Скорее всего, именно это, а не сам шокирующий факт присутствия незнакомца не позволил Лоле сказать что-либо еще. Оставалось лишь молча гадать, знает ли он о том, что происходит у них в семье. Мужчина вошел в комнату и протянул руку.

– Пол Маршалл, – представился он.

Пьеро, стоявший ближе всех, пожал протянутую руку первым, потом – его брат. Когда настала очередь Лолы, она произнесла:

– Лола Куинси. А это Джексон и Пьеро.

– Какие у вас замечательные имена. Но как прикажете различать этих двоих?

– Меня принято считать более обаятельным, – сказал Пьеро. Это была семейная шутка, к которой прибегал их отец, желая рассмешить тех, кто задавал подобный вопрос.

Но этот господин даже не улыбнулся, а только спросил:

– Вы, должно быть, те самые двоюродные братья и сестра с севера?

Они молча напряженно наблюдали за ним, пытаясь понять, что еще ему известно. Мужчина прошел в самый конец детской, подобрал брусок, подбросил его и ловко поймал. Брусок с легким шуршанием лег ему в руку.

– Моя комната – в конце коридора.

– Я знаю, – сказала Лола. – Это комната тетушки Венеры.

– Абсолютно верно. Это ее бывшая комната.

Пол Маршалл опустился в кресло, на котором еще недавно страдала Арабелла, и положил ногу на ногу.

У него было забавное лицо: все черты словно сбегались к бровям, оставляя пустым крупный подбородок, как у Отчаянного Дэна<sup>3</sup>. Это было жестокое лицо, но при безупречности манер его обладателя эффект получался приятным, как показалось Лоле. Переводя взгляд с одного Куинси на другого, Пол Маршалл поправил стрелки на брюках. От его внимания не ускользнуло, с каким интересом Лола смотрела на его черно-белые кожаные спортивные ботинки, и он намеренно покачивал ногой в такт какой-то звучащей у него в голове мелодии.

– Мне очень жаль, что ваш спектакль сорвался.

Близнецы начали незаметно сближаться, подсознательно готовые сомкнуть ряды: если этому человеку о спектакле известно больше, чем им, наверняка он знает и еще много чего. Выражая общую тревогу, Джексон спросил:

– Вы знакомы с нашими родителями?

– С мистером и миссис Куинси?

– Да!

– Я читал о них в газетах.

При этом известии мальчики уставились на него, потеряв дар речи, потому что знали: газеты пишут о важных событиях – о землетрясениях, железнодорожных катастрофах, о том, что делает правительство, что происходит в разных странах, будет ли тратиться больше денег на вооружение, если Гитлер нападет на Англию. Они испытали благоговейный трепет от того,

---

<sup>3</sup> Герой популярного английского комикса 1938 г., отважный ковбой из вымышленного городка Кактусвилль на Диком Западе, обладавший несуразно огромной нижней челюстью.

что их личное несчастье стоит в одном ряду со всеми этими высокими материями. Впрочем, это казалось вполне правдоподобным.

Чтобы обрести уверенность в себе, Лола подбоченилась, но ее сердце слишком сильно билось в груди, и она не решалась заговорить, хотя понимала: молчание нарушить нужно. Ей казалось, что с ними играют в игру, смысла которой она не могла постичь, однако была уверена: во всем этом кроется нечто неприличное, а может, и оскорбительное. Когда она заговорила, голос выдал ее, пришлось откашляться и начать снова:

– И что же вы о них читали?

Он вскинул брови, густые и сросшиеся посередине, и издал протяжное неопределенное:

– Ну-у... – Потом замолчал. – Я не знаю, – сказал он наконец. – Ничего особенного. Глупости всякие.

– Тогда я была бы вам исключительно признательна, если бы вы не говорили об этом при детях.

Должно быть, она где-то слышала это выражение и теперь с бессознательной убежденностью повторила его, как ученик – заклинание мага.

Похоже, это сработало. Маршалл поморщился, признавая, что совершил ошибку, и, повернувшись к близнецам, сказал:

– А теперь, вы двое, послушайте меня. Все прекрасно знают, что ваши родители – замечательнейшие люди, которые вас очень любят и постоянно о вас думают.

Джексон и Пьеро закивали в торжественном согласии. Заявив это, Маршалл снова обратил внимание на Лолу. Выпив незадолго до этого два крепких коктейля в гостиной с Леоном и его сестрой, он поднялся наверх, чтобы распаковать вещи у себя в комнате и переодеться к ужину, но прежде, не снимая башмаков, растянулся на своей необъятной кровати под балдахин и, убаюканный деревенской тишиной, коктейлями и вечерним теплом, задремал. Ему приснились его сестры, все четыре, они стояли вокруг кровати и, щебеча, толкали и тянули его за рукава. Он проснулся, неуместно возбужденный, со вспотевшей грудью и шеей, и не сразу понял, где находится. Когда, опустив ноги на пол, он пил воду, до него донеслись голоса, которые, судя по всему, его и разбудили. Пройдя по скрипучим половицам коридора и войдя в детскую, он увидел трех детей. Впрочем, девочка была уже почти юной женщиной, полной достоинства, даже надменной – ни дать ни взять маленькая принцесса с картины какого-нибудь прерафаэлиты, со всеми этими браслетами, локонами, накрашенными ногтями и бархоткой на шее.

– Вы удивительно стильно одеты, – сказал он ей. – Особенно, мне кажется, вам идут эти брюки.

Комплимент скорее доставил Лоле удовольствие, чем вызвал смущение, и она легко провела пальцами по ткани там, где были сборки над ее узкими бедрами.

– Мы купили их в «Либертиз»<sup>4</sup>, когда ездили с мамой в Лондон, в театр.

– И что же вы смотрели?

– «Гамлета».

На самом деле брюки были приобретены после утреннего представления в «Палладиуме»<sup>5</sup>, где Лола пролила на платье клубничный сок, а «Либертиз» очень кстати оказался как раз напротив.

– Это один из моих любимых магазинов, – заметил Пол. Ей повезло, что он тоже никогда не читал этой пьесы и не видел спектакля, – его стихией была химия. Тем не менее он с глубокомысленным видом произнес: – «Быть или не быть...»

А она с готовностью подхватила:

---

<sup>4</sup> Крупный универсальный магазин в Лондоне.

<sup>5</sup> Известный лондонский театр эстрады.

– «...вот в чем вопрос». А мне нравятся ваши туфли.

Он повертел ступней, любуясь произведением сапожного искусства.

– Да. Мне их сшили у Дакера, на Терл-стрит. Там изготавливают деревянную колодку с вашей ноги и хранят вечно. У них в полуподвалах на полках тысячи таких колодок, многие их владельцы давно умерли.

– Потрясающе.

– Я есть хочу, – снова пожаловался Пьеро.

– Очень кстати. – Пол Маршалл похлопал себя по карману. – У меня кое-что есть, и я вам это дам, если вы угадаете, чем я зарабатываю на жизнь.

– Вы певец, – предположила Лола. – Во всяком случае, у вас очень приятный голос.

– Спасибо за комплимент, но вы ошиблись. Знаете, вы мне напоминаете одну из моих любимых сестер...

– Вы делаете шоколадки на фабрике, – перебил его Джексон.

Не желая допустить, чтобы на брата обрушилась слишком громкая слава, Пьеро поспешил добавить:

– Мы слышали, как вы рассказывали об этом возле бассейна.

– Тогда это не считается.

Тем не менее Пол вынул из кармана обернутую жиронепроницаемой бумагой прямоугольную плитку размером четыре дюйма на дюйм, положил ее на колено, аккуратно развернул и поднял над головой, чтобы близнецы могли ее как следует рассмотреть. Мальчики вежливо подошли. Плитка была закована в грязновато-зеленый панцирь, который Пол поскреб ногтем.

– Сахарная оболочка, видите? А внутри – молочный шоколад. Очень удобно в любых условиях, даже если шоколад растает.

Маршалл еще выше поднял руку и крепко сжал плитку – было видно, как подрагивают его пальцы.

– Такая плитка будет находиться в вещевом мешке каждого английского солдата. Она входит в стандартный набор.

Близнецы переглянулись. Они знали, что взрослые безразличны к сладостям.

– Солдаты не едят шоколада, – заметил Пьеро.

– Они любят сигареты, – со знанием дела добавил его брат.

– И вообще, почему это им, а не детям будут бесплатно раздавать шоколад?

– Потому что они будут сражаться за родину.

– Папа говорит, что войны не будет.

– Он ошибается.

В голосе Маршалла послышалось раздражение, и Лола поспешила всех примирить:

– Может, какая-нибудь и будет.

Он улыбнулся ей:

– Это называется «Армейский "Амо"».

– *Амо, ама, ама*<sup>6</sup>, — prospрягала Лола.

– Вот именно.

– Интересно, почему все, что продается, кончается на «о»? – поинтересовался Джексон.

– Это даже скучно, – подхватил Пьеро. – «Поло»<sup>7</sup>, «Аэро»<sup>8</sup>...

– «Оксо»<sup>9</sup>, «Брилло»<sup>10</sup>, – продолжил Джексон.

---

<sup>6</sup> Люблю, любишь, любит (*лат.*).

<sup>7</sup> Название мятных и фруктовых конфет компании «Раунтри Макинтош лимитед».

<sup>8</sup> Название пористого шоколада.

<sup>9</sup> Название бульонных кубиков и мясной концентрированной пасты.

<sup>10</sup> Название мочалок из тонкой стальной проволоки для чистки металлической посуды.

– Полагаю, они хотят сказать, – пошутил Пол Маршалл, передавая плитку шоколада Лоле, – что их это не интересует.

Она с серьезным видом взяла в руки шоколад и бросила на братьев взгляд, говоривший: «Так вам и надо». Теперь им едва ли было удобно попросить кусочек «Амо». Они видели, как позеленел язык сестры, когда она лизнула край шоколадной оболочки. Пол Маршалл, сложив пальцы домиком и откинувшись на спинку кресла, внимательно наблюдал за Лолой.

Он то правую ногу укладывал на левую, то левую на правую. Потом глубоко вздохнул.

– Откусите, – посоветовал он. – Все равно придется откусить.

Шоколад громко хрустнул под ее безукоризненными резцами, и между белыми краями сахарной оболочки обнаружился темный шоколад. Именно в этот момент они услышали женский голос – их звали снизу; вскоре зов повторился, на сей раз более настойчиво и уже из коридора. Теперь близнецы узнали этот голос и переглянулись в замешательстве.

Лола рассмеялась с полным ртом «Амо»:

– Это Бетти вас ищет. Пора принимать ванну. Бегите. Ну, давайте же, бегите, быстро!

## VI

Вскоре после обеда, убедившись, что Брайони и дети ее сестры плотно поели, и взяв с них обещание держаться подальше от бассейна, по крайней мере ближайшие два часа, Эмилия Толлис укрылась от яркого света и полуденного зноя в своей прохладной затененной спальне. Голова пока не болела, но Эмилия заблаговременно принимала меры предосторожности. Перед глазами уже появились яркие точки величиной с булавочную головку – словно ветхую, всю в прорехах ткань видимого мира подвесили против более яркого источника света. Где-то в правой половине головы ощущалась тяжесть, как будто там, свернувшись калачиком, притаился спящий зверек; но когда Эмилия надавила на это место пальцами, ощущение из координат реального пространства переместилось куда-то вверх. Она могла представить, что, встав на цыпочки и протянув руку, достает до него пальцами. Однако было очень важно не спровоцировать зверька; если только это ленивое существо переберется с периферии в центр, режущая боль пронзит ее насквозь и она не сможет присутствовать на ужине в честь приезда Леона. Этот зверек не желал Эмилии зла, но был безразличен к ее страданиям. Он мотался туда и обратно, как пантера в клетке, просто потому, что не спал и не был уставшим, двигался, чтобы двигаться или вообще без всякой причины и цели. Она лежала на спине, без подушки, стакан воды стоял рядом с кроватью, под рукой, там же лежала книга, которую, как стало очевидно, она читать не будет. Мрак прорезала только длинная расплывчатая полоска света, отражавшаяся на потолке над ламбрекеном. Ее тело сковал страх, словно на нее было направлено острие ножа, она понимала, что этот страх не даст ей уснуть и единственное спасение в неподвижности.

Эмилия представляла зной, словно необъятное облако дыма поднимающийся над домом и парком, над ближайшими графствами, удушающий фермерские усадьбы и города, видела раскаленные рельсы, по которым поезд везет Леона с его другом, поджаривающуюся на солнце двуколку с черным верхом, в которой те будут сидеть чуть позже, открыв окна. Она велела приготовить на ужин жаркое – слишком тяжелая еда для такой погоды. Было слышно, как дом потрескивает и взбухает. Или это стропила и опоры ссыхаются и съеживаются внутри кирпичной кладки? Скукоживается, все скукоживается. Например, планы Леона неумолимо мельчают с тех пор, как он отказался от верного шанса с помощью отца занять приличную должность на государственной службе и предпочел стать ничтожным чиновником в частном банке; теперь он жил лишь в ожидании выходных, когда можно было с удовольствием снова усесться в свою гребную восьмерку. Она сердилась бы на сына еще больше, если бы он не был столь добродушен и абсолютно доволен в окружении преуспевающих друзей. Он слишком хорош собой и пользуется слишком большой популярностью, ему и в голову не приходит считать себя неудач-



ником, он не тщеславен. Может, когда-нибудь он привезет домой погостить друга, за которого Сесилия выйдет замуж, если, конечно, три года в Гертоне не превратили ее в старую деву с претензией на одиночество, курением в спальне, необъяснимой ностальгией по совсем недавним временам и своим толстым подружкам в очках из Новой Зеландии, с которыми она училась в одной группе, – или это были служанки? Девчачий кембриджский мирок Сесилии – все эти холлы, танцклассы для девушек, снобистская тяга к людям, стоящим ниже на социальной лестнице, трикотажные панталоны, разложенные для просушки перед электрокамином, одна расческа на двоих – все это немного сердило Эмилию, но не вызывало ревности.

Сама она до шестнадцати лет обучалась дома, потом была отправлена на два года в Швейцарию, правда, в целях экономии срок ее пребывания там пришлось несколько сократить, но она точно знала, что все эти шоу университетских барышень, в сущности, были ребячеством, невинной забавой – вроде участия в команде женской гребной восьмерки, – своего рода позерством на фоне братьев, приговоренных к импозантности ради продвижения по общественной лестнице. А девушкам даже заслуженные ими высокие оценки не ставили.

Когда в июле Сесилия вернулась домой с экзаменационными результатами, которые ее до глубины души разочаровали, у нее не было ни работы, ни навыков, ей предстояло найти мужа и познать материнство. Но что могли рассказать ей обо всем этом синие чулки, ее педагоги, – женщины с дурацкими кличками и «строгой» репутацией, самодовольные дамы, увековечившие себя в местных кругах робкими потугами на эксцентричность; самое большее, что они себе позволяли, это водить кошек на собачьих поводках, разъезжать повсюду на мужских велосипедах и открыто есть сэндвичи на улице. Поколение спустя, когда этих невежественных, глупых женщин уже давно не будет на свете, за профессорским столом в университетской столовой о них все еще будут приглушенно судачить.

Почувствовав, что черный пушистый зверек зашевелился, Эмилия мысленно переключилась со старшей дочери на младшую, протянув к той щупальца своего беспокойного духа. Бедная милая Брайони, нежнейшее существо! Она выбивается из сил, чтобы заинтересовать своих нестигаемых строптивых кузенов пьесой, в которую вложила всю душу. Каким утешением было любить ее! Но как защитить девочку от провала, от Лолы – воплощения младшей сестры Эмилии, которая была так же расчетлива и осмотрительна в этом возрасте и которая недавно задумала побег от брака в нечто такое, что все, по ее замыслу, должны были считать нервным срывом? Нет, Гермionу в круг размышлений допускать нельзя. Вместо этого Эмилия, лежа в полумраке и стараясь дышать размеренно, решила оценить состояние хозяйства и прислушалась к тому, что происходило в доме. В ее теперешнем положении это было единственным, что она могла сделать. Прижав ладонь ко лбу, она снова услышала треск – зал еще немного скукожился. Снизу донесся отдаленный металлический лязг – наверное, упала крышка от кастрюли; неуместное жаркое находилось в начальной стадии приготовления. Сверху слышался топот и детские голоса – не меньше двух или трех одновременно, они то взмывали вверх, то опускались, а потом снова поднимались: вероятно, там шла дискуссия и все были очень взволнованы. Детская находилась над спальней Эмилии, чуть наискосок. «Злоключения Арабеллы». Если бы Эмилия не чувствовала себя так плохо, то поднялась бы и поруководила репетицией, может быть, чем-нибудь помогла, потому что понимала: детям самим справиться с таким делом трудно. Из-за болезни она давно не дает детям всего того, что требуется от матери. Словно чувствуя это, они всегда называют ее по имени. Могла бы им помочь и Сесилия, но та слишком поглощена собой и слишком мнит себя интеллектуалкой, чтобы снисходить до ребяческих забав... Эмилия снова отмела мысли, связанные со старшей дочерью, и не то чтобы задремала, но впала в полузабытье. Прошло немало минут, прежде чем она услышала шаги на лестнице, ведущей в коридор перед спальней, и по шлепающему звуку догадалась, что человек идет босиком, а следовательно, это Брайони. В жаркую погоду девочка никогда не носила обуви. Еще через несколько минут из детской донесся шум драки, что-то твердое грохнулось на пол. Репе-

тиция расстроилась, Брайони мрачно замкнулась в себе, близнецы начали дурачиться, а Лола, если она действительно так похожа на мать, как думает Эмилия, тихо торжествует.

Привычка суетиться вокруг детей, мужа, сестры, всем помогать обострила чувствительность Эмилии. Материнская любовь, мигрень, а в последние годы долгие часы вынужденной неподвижности в постели вызвали к жизни какое-то шестое чувство, способность некими невидимыми щупальцами осязать дом, двигаться по нему посвященной во все невидимкой. Она схватывала только суть происходящего, поэтому что знала, то знала наверняка. Неразборчивое бормотанье, пробивающееся сквозь толщу ковра, превращалось перед ее мысленным взором в четкую машинопись; разговор, проникавший через стену – а еще лучше, через две, – очищался от обертонов и воспринимался в его сущностных параметрах. То, что другим казалось лишь глухим шепотом, Эмилия со своей обостренной чувствительностью улавливала чутко, как кошачьи усики антенны старого радиоприемника, и видела в почти невыносимом увеличении. Она лежала в темноте и знала все. Чем меньше она была способна сделать, тем больше понимала. Но как бы ни хотелось Эмилии порой встать и вмешаться, особенно когда она считала, что нужна Брайони, страх перед болью удерживал ее на месте. Если не сдерживать боль, она могла целым набором острых кухонных ножей полоснуть по зрительному нерву, потом снова, с еще большей силой, и тогда Эмилия оказалась бы одна, в полной изоляции. Потому что даже стоны усиливали и без того нестерпимую боль.

День шел на убыль, а она все лежала неподвижно в постели. Открылась и закрылась входная дверь. Должно быть, расстроенная Брайони вышла из дома. Вероятно, захотела побыть у воды – возле бассейна или озера, а может, отправилась еще дальше, к реке. Тихий звук на лестнице – наконец-то Сесилия несет цветы в гостевую комнату, выполняя простейшее поручение, о котором ей пришлось напоминать несколько раз за сегодняшний день. Потом – голос Бетти, зовущей Дэнни, шуршание колес по гравию, шаги Сесилии, спускающейся навстречу гостям... Вскоре после этого в темноте потянуло едва заметным запахом табачного дыма – сколько раз ее просили не курить на лестнице, но ей, наверное, захотелось произвести впечатление на друга Леона, а это само по себе может быть и недурно. Эхо голосов в холле, Дэнни с трудом тащит чемоданы наверх, потом сбегает вниз. Теперь наступает тишина – Сесилия повела Леона и мистера Маршалла к бассейну пить пунш, который Эмилия сама приготовила утром. Цокот четырехногого существа, скатывающегося по лестнице, – это близняшки бегут проверить, свободен ли бассейн, они еще не знают, что их ждет разочарование: бассейн занят.

Она задремала и была разбужена гудением мужского голоса в детской, дети что-то отвечали. Конечно же, это не Леон – тот ни на шаг не отходит от сестры теперь, когда они снова воссоединились. Это может быть мистер Маршалл, чья комната выходит в тот же коридор, что и детская, и разговаривает он скорее с близнецами, чем с Лолой. Вероятно, мальчики дерзят, ведь каждый ведет себя так, будто на его долю приходится лишь половина требований соблюдать правила приличий. Вот Бетти поднимается по лестнице, на ходу подзывая мальчиков. Утром она, надо признать, отнеслась к Джексону с излишней строгостью. Пора принимать ванну, пора пить чай, пора ложиться спать... Обычная рутина. Обычные «святые дары» детства – вода, пища и сон – никуда не делись из дневного распорядка. Благодаря позднему и незапланированному рождению Брайони все это оставалось с Эмилией, когда ей было далеко за сорок, и действовало на нее умиротворяюще и дисциплинирующе. Ланолиновое мыло и пушистая белая банная простыня, детский лепет, эхом отдающийся от стен наполненной паром ванной комнаты; обернутая полотенцем девочка у нее на коленях, младенческая беспомощность, которой Брайони бессознательно наслаждалась еще совсем недавно... Теперь дитя укрывалось за запертой дверью ванной, хотя и не всегда: девочке нередко требовалось, чтобы кто-то потер ей спинку или принес чистое белье. Гораздо чаще она пребывала в своем внутреннем неприкосновенном мире, ее сочинительство было не более чем его видимой оболочкой, защитным

панцирем, сквозь который не могла проникнуть даже любящая мать. В мыслях ее дочь всегда витала где-то далеко, озабоченная какими-то невысказанными, ею самой придуманными проблемами, словно пыталась силой детского воображения изменить этот скучный самоочевидный мир, создать его заново. Спрашивать Брайони, о чем она думает, было бесполезно. В жизни каждого человека существует период, когда он жаждет ярких и нетривиальных ответов, в свою очередь рождающих новые наивные, но кажущиеся жизненно важными вопросы. Эмилия старалась как можно точнее отвечать на них дочери и, хотя обсуждение замысловатых гипотез потом трудно было восстановить в подробностях, точно знала, что никогда не говорила так хорошо, как во время бесед со своим одиннадцатилетним поскребышем. Никогда, ни за одним обеденным столом, ни на одной тенистой обочине теннисного корта, речь Эмилии не была столь свободной и столь богатой ассоциациями. Но теперь демоны застенчивости и таланта запечатали уста Брайони, и, хотя девочка не стала менее любящей дочерью – за завтраком она по-прежнему тайком прижималась к матери и под столом сплетала пальцы с ее пальцами, – Эмилия тосковала о минувших временах красноречия. Она больше никогда и ни с кем не сможет так говорить, и это означает, что она мечтает еще об одном ребенке. А ведь ей скоро сорок семь.

Приглушенный рокот водопроводных труб, начавшийся незаметно для нее, вдруг прекратился, напоследок взбудоражив воздух бурной вибрацией, – мальчики Гермioniы уже в ванне, их тощие тельца прилепились к ее противоположным концам, а на вылинявшем голубом плетеном стуле все так же покоятся аккуратно сложенные белые полотенца и рядом с ванной – большой пробковый коврик с объединенным давно умершей собакой уголком. Но теперь в ванной – никакого детского лепета, только пугающая тишина, и никакой мамы – только Бетти, чью сердечную доброту никогда не заметит ни один ребенок. Как могла Гермioniа решиться на «нервный срыв» – эвфемизм, коим принято было именовать ее друга, работавшего на радио, – как могла она обречь своих детей на тишину, страх и печаль? Эмилия подумала, что ей самой следовало присмотреть за купанием детей. Но она понимала: даже если ножи не полоснули бы при этом по ее зрительному нерву, она оставалась бы там только из чувства долга. Потому что – да, все очень просто! – это были не ее дети, к тому же мальчики – существа совершенно некоммуникабельные, не имеющие дара душевной близости, хуже того, лишенные для нее всякой индивидуальности, поскольку ей всегда будет недоставать этого треугольничка плоти. Она могла воспринимать их лишь в общем.

Опершись на локоть, Эмилия поднесла к губам стакан с водой. Ощущение присутствия зверька – ее мучителя – начинало ослабевать, теперь она могла попытаться прислонить к изголовью кровати две подушки, чтобы сесть, откинувшись на них. Этот маневр она проделывала медленно и неуклюже, боясь совершить резкое движение; скрипевшие при этом пружины заглушали мужской голос. Перевалившись на бок, она замерла с зажатым в руке уголком подушки и сосредоточила свое обостренное внимание на укромных уголках дома. Было тихо, но вдруг, будто кто-то в темноте быстро включил и выключил лампочку, раздался и тут же смолк короткий сдавленный смешок. Лола с Маршаллом в детской. Эмилия закончила обустроить себе гнездо, откинулась на подушки и отпила глоток тепловатой воды. Этот молодой богатый предприниматель, должно быть, не так уж плох, если способен немало времени посвящать детям. Еще немного, и она рискнет зажечь ночник возле кровати, а еще минут через двадцать присоединится к домашним и проверит все, что требует ее надзора. Прежде всего нужно будет пойти на кухню посмотреть, не поздно ли заменить жаркое на холодное мясо с салатами, потом – поприветствовать сына, познакомиться с его другом и проявить гостеприимство по отношению к нему. После этого она должна удостовериться, что о близнецах заботятся должным образом, и, возможно, побаловать их каким-нибудь лакомством. Затем настанет время позвонить Джеку, который мог забыть предупредить ее, что не приедет сегодня домой. Придется сначала поговорить с телефонисткой и напыщенным юнцом в приемной, потом заверить

мужа, что ему не стоит винить себя. Далее – найти Сесилию, удостовериться, что она составила букет так, как ей было велено, и потрудиться сделать над собой усилие, чтобы вечером принять на себя часть обязанностей хозяйки дома, а также что она надела что-нибудь приличное и не курит в каждой комнате. И наконец – это самое важное, – Эмилия отправится на поиски Брайони, поскольку срыв спектакля – ужасный удар для девочки и ребенку понадобится самое теплое материнское утешение. Искать Брайони значит выйти на открытый солнечный свет, а даже косые лучи клонящегося к закату солнца могут спровоцировать приступ. Нужно найти солнцезащитные очки, прежде чем отправляться на кухню, ведь снова идти за ними наверх будет утомительно, а они где-то здесь, в комнате, – то ли в ящике стола, то ли заложены в какую-нибудь книгу, то ли в каком-то кармане. Нужно также надеть туфли без каблуков на тот случай, если Брайони ушла далеко вдоль берега реки...

Так, уже после того как выкинула недоношенного зверька, Эмилия пролежала, опершись на подушки, еще несколько минут, строя и перестраивая свои планы, уточняя порядок действий. Придется навести порядок в доме, из скорбного мрака спальни представлявшегося взбужденным, неравномерно заселенным континентом, с просторов которого, из разных поросших дубравами уголков конкурирующие стихии заявляли о своих противоречивых претензиях на ее неусыпное внимание. Она не тешила себя иллюзиями: все планы, даже если удастся удерживать их в памяти, с течением времени имеют тенденцию неумолимо меняться под влиянием лихорадочной и сверх меры оптимистической хватки событий. Эмилия могла простереть свои щупальца во все помещения дома, но не в будущее. Знала она также и то, что при любых обстоятельствах первое, о чем она будет печься, это собственный душевный покой; эгоизм и доброту лучше всего не противопоставлять друг другу. Эмилия осторожно оторвалась от подушек, спустила ноги на пол и сунула их в тапочки. Предпочтя пока не раздвигать шторы, она включила лампу на тумбочке и медленно отправилась на поиски солнцезащитных очков. Она уже решила, где следует посмотреть в первую очередь.

## VII

Храм на острове был построен в стиле Николаса Риветта в конце восемнадцатого столетия как украшение, приятная взору деталь пейзажа – чтобы усилить впечатление пасторальной идиллии – и никакого религиозного назначения не имел. Он стоял близко к воде, возвышаясь на откосе и красиво отражаясь в озере, его колонны, поддерживавшие фронтоны, откуда ни взгляни, прелестно затенялись вязами и дубами, окружавшими строение. Однако с более близкого расстояния храм являл собой весьма печальное зрелище: из-за влаги, просачивавшейся сквозь поврежденную гидроизоляцию, большие пласты штукатурки отвалились. После небрежного ремонта, сделанного в конце девятнадцатого века, в облицовке остались обширные участки некрашеного цемента, со временем они потемнели, стали коричневыми и придавали теперь зданию неряшливый рябой вид. В других местах сквозь стены проглядывала обнажившаяся гниющая дранка, напоминая ребра умирающего от голода животного. Двойные двери, когда-то открывавшиеся в круглый зал под куполом, давным-давно исчезли, каменный пол был густо покрыт заплесневевшими листьями и испражнениями птиц и животных, находивших здесь приют. В великолепных георгианских окнах не осталось ни одного стекла – в конце двадцатых годов их повыбивали Леон и его друзья. Высокие ниши, где некогда стояли статуи, опустели и затянулись паутиной. Каким-то образом тут сохранилась скамейка, много лет назад принесенная с деревенской крикетной площадки тем же юным Леоном и его беспокойными одноклассниками. Ее ножки, отломанные и использовавшиеся для сокрушения окон, вросли теперь в землю среди крапивы и нетленных осколков стекла.

Так же как павильон у бассейна позади конюшни имитировал архитектуру храма, сам храм, судя по всему, должен был вызывать ассоциации с подлинным домом Адама, хотя никто

из Толлисов понятия не имел, как тот дом выглядел. Возможно, сходство следовало искать в расположении колонн, форме фронтона или в пропорциях окон. Время от времени, чаще всего под Рождество, когда люди особенно охотно строят планы, Толлисы, гуляя по мосткам, клятвенно обещали докопаться до истины, но, как только наступал новый суматошный год, никто об этом больше не вспоминал. И утрата памяти об исторической родословной храма гораздо больше окрашивала печалью образ бесполезного маленького строения, чем его физическое обветшание. Храм напоминал отпрыска великосветской дамы, оставшегося после ее смерти беспризорным сиротой, состарившегося до срока и махнувшего на себя рукой. Только конусообразное пятно сажи высотой в человеческий рост на внешней стене, там, где двое бродяг когда-то нахально разожгли костер, чтобы зажарить карпа, не было на совести Толлисов. В течение долгого времени в траве перед входом лежал сморщенный башмак, который постепенно объедали кролики. Сегодня Брайони его уже не увидела – всему приходит конец. Мысль о том, что храм надел черную повязку в знак траура по сторевавшему дому, что он оплакивает давнее величественное прошлое, рождала смутно религиозное ощущение. Призрак трагедии, витавший над храмом, спасал его от того, чтобы считаться чистой фальшивкой.

Трудно долгое время хлестать палкой по крапиве и не сочинить какую-нибудь историю. Вскоре Брайони, поглощенная своими мыслями, уже испытывала зловещее удовольствие, хотя со стороны казалась обычной девочкой, пребывавшей в плохом настроении. Она нашла гибкую ореховую веточку и ободрала с нее кору. Предстояла работа, за которую она и принялась. Высокая самодовольная крапива с жеманно склоненной головкой и нижними листьями, простертыми, словно руки ищущей защиты невинности, была Лолой, и, как бы она ни молила о пощаде, изогнувшийся дугой свистящий трехфутовый прут скосил ее, заставив опуститься на колени. Брайони ощутила слишком большое удовлетворение, чтобы остановиться на этом, и несколько следующих стеблей крапивы тоже были назначены Лолой. Одна, склонявшаяся к уху соседки и что-то ей нашептывавшая, получила сильнейший удар по губам; вторая стояла отдельно от других, склонив голову набок, и явно замышляла какую-то коварную интригу; еще одна корчила из себя аристократку перед кучкой юных обожателей и рассказывала им всякие небылицы про Брайони. Очень жаль, но обожателям придется умереть вместе с ней. Каждая следующая крапивина наделялась одним из многочисленных пороков Лолы: гордыней, ожорством, корыстолюбием, упрямством – и была обречена пасть. В последнем припадке злобы все они валились Брайони под ноги, силясь ужалить. Когда «Лола» получила сполна и умерла окончательно, три пары молодых крапивных побегов заплатились за актерскую бесталанность близнецов – возмездие было хладнокровным, без снисхождения к нежному возрасту. Потом несколько кустов крапивы воплотили в себе сам акт написания пьесы. Опустошенность, зря потраченное время, неразбериха, царящая в головах других людей, безнадежность притворства – в саду искусств это были семена, подлежащие уничтожению.

Расквитавшись с драматургией и почувствовав себя от этого значительно бодрее, Брайони осторожно, чтобы не наступить на битое стекло, стала обходить храм по кругу там, где трава беспорядочно росла вперемешку с проклюнувшимися семенами ближайших деревьев. Расправа с крапивой символизировала самоочищение, и теперь Брайони переключилась на детство, в котором больше не нуждалась. Какое-то хилое растение стало для нее символом всего, чем она жила до сих пор. Но этого было мало. Для устойчивости чуть расставив ноги, она избавилась от себя прежней, один за другим нанеся тринадцать – по числу прожитых лет – сокрушительных ударов по растеньицу. Девочка гневно обрушивалась на жалкую несамостоятельность младенчества и раннего детства, на школярское желание показать себя и заслужить похвалу, на глупую гордость, испытанную в одиннадцать лет от написания первого рассказа, на зависимость от маминого одобрения. Ошметки листьев и стеблей летели через ее левое плечо

и ложились у ее ног за спиной. Гибкий кончик прута, рассекая воздух, издавал сопряженный звук двух тонов, словно взвизгивал: «Хва-тит! Кон-чено! Вот тебе!»

Вскоре действие так захватило Брайони, что она стала мысленно произносить в такт ударам текст несуществующей газетной статьи: «Никто в мире не может сравниться с Брайони Толлис, которая в будущем году будет представлять свою страну на Берлинской олимпиаде и, несомненно, завоюет там золото. Специалисты с восхищением изучают ее технику: она предпочитает фехтовать босиком, поскольку это позволяет лучше удерживать равновесие, что так важно в столь сложном виде спорта. Положение каждой ступни играет важную роль – взгляните, как она управляет запястьем, как точно направляет рапиру, как распределяет вес тела и меняет положение ног, чтобы вложить в удар максимум силы. Обратите внимание на ее отличительную особенность вытягивать пальцы свободной руки – рядом с ней некого поставить. Младшая дочь высокого государственного чиновника – самоучка. Посмотрите, как сосредоточенно она вычисляет угол удара, никогда не промахивается, поражая каждый крапивный куст с нечеловеческой точностью. Только посвятив этому жизнь, можно добиться подобного мастерства. Страшно подумать, что она чуть было не потратила жизнь на написание пьес!»

Вдруг Брайони услышала, как на первом мосту позади нее громыкает двуколка. Леон – наконец-то! Она представила взгляд брата: неужели это его маленькая сестренка, которую он всего три месяца назад видел на вокзале Ватерлоо? И вот пожалуйста, теперь она член международной спортивной элиты. Из какого-то странного упрямства Брайони не позволила себе оглянуться и тем самым дать понять, что видит его; он должен знать, что отныне она независима от чьего бы то ни было мнения, даже от его. Она – признанный мастер, полностью поглощенный премудростями своего искусства. К тому же никуда он не денется, ему придется остановить двуколку и подбежать к ней, а она со страдальческим смирением простит ему то, что он ей помешал.

Затухающий на втором мосту шорох колес и цокот копыт Брайони истолковала как уважение брата к ее профессиональным занятиям и умение соблюдать дистанцию. Тем не менее, рубя на ходу траву и продолжая огибать храм, пока дорога не исчезла из виду, она испытала легкую грусть. Оставленный позади путь был отмечен неровными контурами поверженной крапивы и запечатлелся на ее ступнях и щиколотках зудящими белыми волдырями. Кончик орехового прута пел, извиваясь, листья и стебли разлетались в стороны, но различать восторженные возгласы толпы становилось все труднее. Картина, нарисованная воображением, блекла, удовольствие от движения и балансирования собственным телом притуплялось, уставшая рука начинала болеть. Брайони снова превращалась в одинокую девочку, прутиком сбивавшую крапивные головки, и наконец остановилась, отбросила прут к деревьям и осмотрелась.

Этот момент возвращения, приспособления заново ко всему, что было прежде и что каждый раз казалось чуть хуже, чем в прошлый раз, неизменно был расплатой за временное забвение в фантазиях. Грезы, еще недавно казавшиеся такими яркими, исполненными таких правдоподобных деталей, перед лицом тяжелого монолита реальности оборачивались мимолетной глупостью. И вернуться в них было чрезвычайно трудно. «Проснись», – бывало, шептала ей сестра, чтобы пробудить от дурного сна. Брайони утрачивала божий дар творения, но безжалостно очевидной эта утрата становилась именно в такие моменты возвращения. Отчасти очарование ее оков наяву заключалось в иллюзии, будто она беззащитна перед их логикой: в силу международной конкуренции она вынуждена на самом высоком уровне соревноваться с лучшими спортсменами мира, к этому обязывает ее собственное превосходство в своем виде спорта – сбивании крапивы прутом. Она должна из кожи вон лезть, чтобы не обмануть ожиданий ревущей толпы, чтобы быть лучшей и – что важнее всего – неповторимой. Но конечно же, от себя не уйдешь, и вот она уже снова в этом мире, не в том, который создала сама, а в том, который создал ее, и чувствует, как невольно съезживается под гаснущим в преддверии вечера небом. Ей надоело бродить по парку, но и вернуться в дом она еще не готова.

Неужели в жизни больше нигде существовать – только «в доме» или «вне дома»? Неужели человеку больше нигде быть? Брайони повернулась спиной к храму и медленно направилась к мосту по лужайке, идеально «подстриженной» кроликами. Перед ней, подсвеченное заходящим солнцем, висело облако мошек, и каждая из них непредсказуемо дергалась в его пределах, словно привязанная невидимой эластичной нитью, – таинственный танец ухаживания или безудержное буйство насекомых, смысл которого ей не дано постичь? В мятежном порыве чувств Брайони вскарабкалась по крутому поросшему травой склону на мост и, остановившись на его проезжей части, решила, что не пошевелится, пока не получит какого-нибудь знака. Это был вызов, который она бросала жизни, – она не двинется с места, чтобы успеть к ужину, пусть даже ее позовет мама. Брайони просто останется здесь, на мосту, спокойно и трезво ждать, пока события, реальные события, а не ее фантазии не ответят на вызов и не развеют миф о ее собственной незначительности.

## VIII

К концу дня высокие облака образовали в западной части неба тонкий желтоватый накат, который еще через час окрасился в более интенсивный цвет и уплотнился, повиснув чистым оранжевым свечением над гигантским гребнем парковых деревьев; листья стали орехово-коричневыми, между ними мерцали маслянисто-черные ветви, а высохшая трава впитала краски неба. Такой пейзаж – особенно когда небо и земля приобрели красноватый оттенок, а неохватные стволы старых дубов почернели настолько, что начали отливать синевой, – мог бы придумать только фовист, приверженный невероятному смешению ярких цветов. Хотя закатное солнце теряло силу, температура, казалось, даже повысилась, потому что ветер, весь день приносивший хоть какое-то облегчение, стих, а воздух стал неподвижным и тяжелым.

Если бы Робби Тернер потрудился вылезти из ванны, присесть и изогнуть шею, ему сквозь запечатанное слуховое окошко был бы виден этот пейзаж, по крайней мере небольшая его часть. Весь день крохотная спальня Робби, ванная и зажатая между ними каморка, которую он называл своим кабинетом, жарились под южным скатом крыши бунгало. Вернувшись после работы, он больше часа лежал в чуть теплой ванне, пока его кровь и раскаленные мысли не согрели воду. Небо, заключенное в квадрат окна над головой, постепенно меняло цвет в пределах определенного отрезка спектра: от желтого до оранжевого; точно так же одни чувства самого Робби плавно перетекали в другие, прежде незнакомые, а воспоминания последовательно чередовались. Ему это не надоедало. Время от времени, по мере того как он припоминал ту или иную подробность, мускулы его живота под слоем воды в дюйм толщиной непроизвольно напрягались. Капля у нее на плече. Мокром плече. Цветок, простая ромашка, вышитая между чашечками лифчика. Грудь, маленькие и широко расходящиеся. На спине, полуприкрытая бретелькой, – родинка. Когда она вылезла из воды, сквозь ткань проступил темный треугольник, который скрывали сухие панталоны. Мокрый треугольник. Он отчетливо видел его, снова и снова прокручивая в памяти эту сцену. Ткань, под которой просвечивала кожа, обтягивавшая бедра, изящный изгиб талии, пугающая бледность. Когда она наклонилась, чтобы подхватить юбку, и приподняла ступню, на подушечках обворожительно маленьких пальчиков обнаружилось пятнышко земли. На бедре – еще одна родинка, размером с фартинг, а на голени – что-то красное. Пятно от клубники, шрам? Это не портило ее. Украшало.

Он знал ее с детства, но никогда не разглядывал. В Кембридже она как-то раз зашла к ним в общежитие с девушкой в очках из Новой Зеландии и какой-то школьной подругой; у него в гостях как раз был друг из Даунинг-колледжа. Все празднично просидели около часа, передавая по кругу сигареты и немного настороженно шутя. Время от времени они встречались на улице и улыбались друг другу. Казалось, она испытывала при этом неловкость и, может быть, пройдя мимо, шептала на ухо подруге: «Это сын нашей уборщицы». Робби хотел, чтобы



все знали: ему это безразлично. Однажды он даже сказал приятелю: «Вон дочь хозяина моей матери». Робби служили защитой его политические убеждения, научно обоснованная теория классов, а также несколько преувеличенное чувство уверенности в себе. Я – то, что я есть! Она была ему вроде сестры, с которой редко видишься. Продолговатое узкое лицо, маленький рот – если бы он когда-нибудь о ней вообще думал, то мог бы сказать, что в ее облике есть что-то от лошади. Теперь он видел: это своеобразная красота – нечто резкое, застывшее, особенно вокруг скошенных скул, и трепетные ноздри; пухлые, блестящие, как розовый бутон, губы. Глаза темные и задумчивые. Статная, но движения быстрые и порывистые – если бы она так внезапно не выхватила вазу у него из рук, вещь была бы целехонька. Она здесь мается, это очевидно, домашний уклад Толлисов ее раздражает и душит, долго она не выдержит, уедет.

Скоро ему придется с ней поговорить. Наконец Робби дрожа вылез из ванны с полным осознанием того, что его ждут большие перемены. Без одежды он проследовал через кабинет в спальню. Неубранная постель, беспорядочно разбросанная одежда, полотенце на полу, тропическая жара в комнате – во всем этом ощущалась некая изломанная чувственность. Он ничком растянулся на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и застонал. Милая, грациозная подруга детства – теперь она может оказаться для него недостижимой. Раздеться вот так, вызываясь откровенно – да, в этом была подкупающая попытка вести себя эксцентрично, но кустарный пароксизм ее отваги выглядел несколько нарочитым. Теперь она будет мучиться раскаянием, ей не понять, что она с ним сделала. Все бы ничего, все можно было бы спасти, если бы она не была так сердита из-за вазы, горлышко которой откололось прямо у него в руках. Но Сесилия нравилась ему даже в гневе. Он перевернулся на бок, уставился в одну точку и предался фантазиям, напоминавшим кадры из фильма: вот Сесилия барабанит кулачками по лацканам его пиджака, но уже в следующий миг, тихо всхлипнув, падает в его крепкие объятия, и они сливаются в поцелуе. Не то чтобы она его прощает – сдается. Робби мысленно прокрутил эту сцену несколько раз, прежде чем вернуться к реальности: Сесилия на него злится и будет злиться еще сильнее, когда узнает, что его позвали на сегодняшний ужин. Там, на слепящем свете, он не успел сообразить, что следует отказаться от приглашения Леона. Он автоматически пробормотал «спасибо», а в результате придется терпеть ее раздражение. Представив снова, как Сесилия разделась перед ним – невозмутимо, словно он был ребенком, – Робби опять застонал, не заботясь о том, что его услышат внизу. Ну разумеется. Теперь он отчетливо это понимал, и мысль об этом была унижительной. Вот он, факт, не подлежащий сомнению: унижение. Она хотела его унижить. В ней есть не только обаяние, и он не может позволить себе унижаться перед ней, потому что в этой девушке заключена сила, которая может выбросить его на поверхность, а может и потянуть ко дну.

Но возможно – он перевернулся на спину, – не следует принимать ее гнев за чистую монету? Разве этот гнев не был театрально-показным? Наверняка, даже демонстрируя ему ярость, она имела в виду что-то другое. Даже в ярости она хотела напомнить ему, как она хороша, вызвать его восхищение. Или он выдает желаемое за действительное, потакаая своим надеждам и желаниям? А что еще ему остается делать? Скрестив ноги и заложив руки за голову, Робби наслаждался прохладой, ощущавшейся высыхающей кожей. Что бы сказал в этом случае Фрейд? Ну, например: прячась за маской гнева, она подсознательно хотела облачиться перед ним. Жалкая надежда! Скорее это было демонстрацией того, что Сесилия не считает его мужчиной. Приговор. И муки, которые он теперь испытывает, – наказание за то, что он испортил дурацкую вазу. Ему вообще не следовало бы больше встречаться с Сесилией, но придется, причем сегодня вечером. У него нет выбора – он пойдет. И она будет его за это презирать. Да, конечно, следовало отказаться от приглашения Леона, но в тот момент у него заколотилось сердце, и «спасибо» само собой сорвалось с языка. Вечером они окажутся в одной комнате, и он будет знать, что под одеждой скрывается тело, которое он видел, бледная кожа, родинки и то клубничное пятно... Лишь он один, ну и Эмилия, разумеется, будут это

знать. Но думать об этом будет только он. А Сесилия не станет с ним разговаривать и смотреть на него. Все же и это лучше, чем лежать тут и стонать. Нет, не лучше. Хуже, но он все равно этого жаждет. Он должен через это пройти. Он хочет, чтобы было хуже.

Наконец Робби встал, кое-как оделся, отправился к себе в кабинет, уселся за пишущую машинку и стал думать: что же ему ей написать. Так же как спальня и ванная, приплюснутый кабинет располагался под южным скатом крыши и представлял собой лишь узкий проход между ними, не более шести футов в длину и пяти в ширину. Так же как два других помещения, он освещался через слуховое окно в грубой сосновой раме. В углу была свалена альпинистская амуниция Робби – ботинки, альпеншток, кожаный рюкзак. Большую часть комнатки занимал иссеченный ножом кухонный стол. Откинувшись на задних ножках стула, Робби обозрел поверхность стола, как обозревают прожитую жизнь. На одном конце, прислоненная к скошенной стене, лежала стопка папок и тетрадей, оставшаяся там с тех пор, как он несколько месяцев назад готовился к выпускным экзаменам. Записи ему больше не пригодятся, но в них вложено слишком много труда и слишком много успехов связано с ними, чтобы он мог уже сейчас равнодушно выкинуть их. Наискосок от папок лежали его туристские карты – карта Северного Уэльса, Гэмпшира, Суррея и еще карта, по которой он прокладывал маршрут несостоявшегося похода в Стамбул. Там же находился компас со смотровой щелью, им Робби пользовался, когда без карты совершал поход в бухту Лалворт.

Еще дальше – томик стихотворений Одена и «Парень из Шропшира» Хаусмена. На другом конце стола были сложены книги по истории, теоретические трактаты и практические руководства по парковому дизайну. Поверх листов с десятью напечатанными на машинке стихотворениями лежал официальный отказ, присланный из журнала «Критерион». Он был подписан лично мистером Элиотом. Поближе к тому месту, где сидел Робби, были собраны книги, отражавшие его нынешние интересы. «Анатомия» Грея была заложена стопкой листов с его собственными рисунками. Робби поставил себе цель зарисовать и выучить наизусть все кости руки и сейчас попытался отвлечься, просматривая их и бормоча названия костей: головчатая, крючковатая, трехгранная, полулунная... Лучшие из сделанных им пока чернилами и цветными карандашами рисунков изображали сечение пищеварительного тракта и дыхательных путей и были прикреплены кнопками к балке над столом. Из высокой оловянной пивной кружки с отломанной ручкой торчали перья и карандаши. Пишущую машинку, новейшую модель «Олимпия», ему подарил и вручил в библиотеке перед обедом Джек Толлис в день, когда ему исполнился двадцать один год. Леон, так же как его отец, произнес тогда речь. Сесилия, разумеется, при том присутствовала, но Робби не помнил, что она тогда сказала. Не злитесь ли она теперь именно потому, что он много лет не обращал на нее внимания? Жалкая надежда.

На дальнем конце стола – фотографии: участники спектакля «Двенадцатая ночь» на лужайке перед колледжем, он сам – в роли Мальволио, с перекрещенными подвязками. Весьма кстати. Был там еще один групповой снимок: Робби и тридцать французских школьников, которым он преподавал в интернате неподалеку от Лиля. В выкрашенной ярь-медянкой металлической рамке – фотография родителей, Грейс и Эрнеста, сделанная на третий день после их свадьбы. На заднем плане переднее крыло автомобиля – разумеется, им не принадлежавшего, а еще дальше на фоне кирпичной стены сушилка для хмеля. Грейс любила рассказывать, как чудесно они провели медовый месяц: две недели вместе с семьей мужа собирали хмель и спали в цыганском таборе, расположившемся во дворе фермы. На отце была рубашка без воротничка. Шейный платок и веревочный пояс на фланелевых брюках должны были, вероятно, шутливо символизировать романский колорит. У него была круглая голова и круглое лицо, но он отнюдь не казался веселым, улыбке перед объективом, лишь слегка тронувшей губы, не хватало добродушия. Отец не держал за руку молодую жену, а стоял, сложив руки на груди. Мать же, напротив, склонилась к нему, положив голову на плечо и неловко вцепившись обеими руками в его рукав. Всегда задорная и добродушная, Грейс улыбалась за двоих.

Но жаждущих рук и доброго нрава оказалось недостаточно. Казалось, уже тогда Эрнест в мыслях был где-то далеко, там, куда семь лет спустя он отправился без вещей, презрев должность садовника Толлисов и свое бунгало, не оставив даже прощальной записки на кухонном столе, бросив жену и шестилетнего сына гадать о причинах его поступка.

Среди листов с проверочными упражнениями по парковому дизайну и анатомии валялись письма и почтовые открытки: конверты официальных учреждений, послания от наставников и друзей, поздравлявших Робби с первым местом по итогам экзаменов, – их он до сих пор любил перечитывать – и более поздние, в которых они интересовались его дальнейшими планами. Самое последнее, написанное коричневыми чернилами на бланке одного из департаментов Уайтхолла, было от Джека Толлиса и уведомяло о согласии оплатить его учебу в медицинском колледже. Там же лежали бланки приемных документов – целых двадцать страниц – и толстые, с плотным текстом справочники для абитуриентов, присланные из Эдинбурга и Лондона. Педантичный, занудный стиль изложения наводил на мысль о ранее неведомом Робби академическом ригоризме. Сегодня эти книги сулили ему не приключение и новое начало, но изгнание. Думая о будущем, он представлял унылую улицу, находившуюся далеко отсюда, с рядом стандартных домов, келью со стенами, обклеенными обоями в цветочек, кровать, застеленную вышитым «фитильками» покрывалом, серьезных новых приятелей, гораздо более молодых, чем он, ванночки с формальдегидом, гулкие лекционные залы – все совершенно чуждое Сесилии.

С полки, где стояли книги по парковой архитектуре, Робби достал том о Версале, позаимствованный в библиотеке Толлисов в тот день, когда он впервые заметил, что неловко чувствует себя в присутствии Сесилии. Наклонившись, чтобы снять грязные рабочие башмаки, он обратил внимание на свои носки, продырявленные на пальцах и пятках, дурно пахнувшие, и не раздумывая стянул их. Каким же идиотом он выглядел, шлепая за ней босиком в библиотеку через холл! Единственным его желанием было тогда убраться оттуда как можно скорее. Уходя, он прошмыгнул через кухню и вынужден был позднее послать Дэнни Хардмена к парадному входу за башмаками и носками.

Наверняка Сесилия не читала этого трактата по гидравлике Версаля, написанного в восемнадцатом веке неким Даном, восхвалявшим на латыни это гениальное творение рук человеческих. С помощью словаря Робби одолел утром пять страниц, потом сдался и ограничился просмотром иллюстраций. Эта книга не во вкусе Сесилии, да и вообще ни в чем, но именно ее, стоя на стремянке, она достала и вручила ему, и, следовательно, на книге есть отпечатки ее пальцев. Приказывая себе не делать этого, Робби тем не менее поднес книгу к лицу и вдохнул. Запах пыли, старой бумаги, мыла, которым он мыл руки, – ничего, что принадлежало бы ей. И почему это он незаметно погрузился в трясину фетишизации предмета обожания? Несомненно, у Фрейда в «Трех этюдах о сексуальности» об этом что-то сказано. А также у Китса, Шекспира, Петрарки и прочих, и в «Романе о розе» тоже. Три года Робби хладнокровно изучал симптомы болезни, казавшиеся ему не более чем литературным вымыслом, и вот как какой-нибудь длинноволосый рыцарь в шляпе с плюмажем, в одиночестве бродящий по опушке леса и созерцающий объект мечтаний, он сам теперь боготворит любимые следы – даже не платок, а отпечатки пальцев! – и чахнет, не замечаемый своей прекрасной дамой.

При всем при том, заправляя бумагу в пишущую машинку, Робби не забыл о копирке. Поставив дату и напечатав приветствие, он немедленно приступил к светским извинениям за свое «неловкое и необдуманное поведение». Потом остановился. Следует ли ему открыть свои чувства, и если да, то до какой степени?

«Если это может служить хоть каким-то оправданием, то в последнее время я стал замечать, что в твоём присутствии теряю голову. Никогда прежде я и помыслить не мог войти в чей-то дом босиком. Должно быть, у меня был жар!»

Как беспомощно выглядели эти оправдания! Робби напоминал себе человека, тяжело больного туберкулезом, но притворяющегося, будто у него лишь простуда. Дважды нажав на рычаг перевода строк, он начал заново:

«Знаю, это едва ли меня оправдывает, но в последнее время рядом с тобой я впадаю в какое-то умственное расстройство. Чего стоит один проход босиком по твоему дому! И разве когда-нибудь раньше я разбивал старинные вазы?»

Прежде чем опять напечатать ее имя, он посидел немного, положив пальцы на клавиатуру.

«Си, не думаю, чтобы дело было в высокой температуре!»

Теперь вместо шутки получалась мелодрама или жалоба. Риторический вопрос звучал холодно, а за восклицательными знаками обычно прячется тот, кто не может выразиться яснее. Подобную пунктуацию Робби прощал только матери, в чьих письмах частокол из пяти восклицаний обозначал очень веселую шутку. Сдвинув валик назад, он забил последнюю фразу:

«Сесилия, не думаю, что во всем виновата лихорадка».

Теперь предложение оказалось лишенным всякого юмора и приобрело жалостливый оттенок. Восклицательный знак, пожалуй, следовало вернуть на место. Очевидно, его роль не сводится исключительно к тому, чтобы усиливать интонацию.

Робби еще с четверть часа пытался усовершенствовать текст с помощью мелких поправок, потом вставил в машинку чистую бумагу и начал печатать набело. Ключевые фразы выглядели так:

«Никто не осудил бы тебя, если бы ты сочла меня сумасшедшим за то, что я разулся при входе в твой дом или выхватил у тебя из рук старинную вазу. Дело в том, что в твоём присутствии я глупею и становлюсь почти безумным. Си, не думаю, что причиной тому – жар! Можешь ли ты простить меня? Робби».

Потом, балансируя на задних ножках стула, он несколько минут поразмышлял о том, что его «Анатомия» в последние дни неизменно открыта на одной и той же странице, придвинулся к столу и быстро застучал:

«В мечтах я целую твою промежность, твою сладостную влажную промежность. Мысленно я дни напролет предаюсь с тобой любви».

Ну вот – испортил. Испортил страницу. Робби выдернул лист из машинки, отложил в сторону и написал письмо от руки, сочтя, что это придаст посланию личностный оттенок, более соответствующий задаче. Взглянув на часы, он вспомнил, что нужно еще успеть начистить туфли, и встал из-за стола, не забыв пригнуть голову, чтобы не стукнуться о балку.

Он никогда не испытывал неловкости из-за своего социального положения. Как-то во время ужина в Кембридже во внезапно наступившей за круглым столом тишине некто, не симпатизировавший Робби, громко спросил его о родителях. Глядя прямо в глаза вопрошавшему, тот со всей любезностью ответил, что отец бросил их много лет назад, а его мать служит уборщицей и иногда подрабатывает в качестве ясновидящей. Его тон был исполнен спокойной терпимости к невежеству человека, задавшего вопрос. Робби детально изложил обстоятельства своей жизни, после чего вежливо поинтересовался родителями собеседника. Кое-кто считал, что такое поведение объяснялось невинностью или стремлением игнорировать существующее мироустройство, попыткой защититься от болезненных ударов судьбы. Некоторые даже полагали, что Робби был своего рода блаженным, который может пройти по враждебной гостинной, как маг по горячим углям, не причинив себе вреда. Но Сесилия знала: правда много проще. Все свое детство Робби свободно курсировал между бунгало и хозяйским домом. Джек Толлис был его покровителем, Леон и Сесилия – лучшими друзьями, по крайней мере в школьные годы. В университете, поняв, что он гораздо умнее большинства окружающих, Робби окончательно избавился от комплексов. Там даже заносчивость была ни к чему.

Грейс Тернер с радостью обстирывала его – как еще, если не считать горячих обедов, могла она выказать материнскую любовь двадцатитрехлетнему сыну? Но чистить обувь Робби предпочитал сам. В белой майке и брюках от костюма он сбежал по короткому лестничному маршу в одних носках, держа в руках черные спортивные башмаки. Перед гостиной был узкий коридорчик, заканчивавшийся входной дверью. В нее было вставлено «морозное» стекло, через которое с улицы проникал красновато-оранжевый свет. Этот свет делал неожиданно выпуклыми бежево-оливковые обои, разрисованные огненными сотами. Удивленный подобным эффектом, Робби, уже взявшись за дверную ручку, задержал на них взгляд, потом вошел в гостиную. Воздух в комнате был влажным, теплым и чуть соленым. Должно быть, только что кончился сеанс. Мать лежала на диване, положив ноги на валик, на кончиках пальцев болтались ковровые тапочки.

– Молли приходила, – сказала она и села, чтобы продемонстрировать готовность к беседе. – Рада тебе сообщить, что у нее все будет хорошо.

Поставив принесенный из кухни ящик с обувными принадлежностями, Робби сел в ближайшее к матери кресло и разложил на полу «Дейли скетч» трехдневной давности.

– Ты молодец, – сказал он. – Я слышал, ты занята, поэтому прошел прямо в ванную.

Он знал, что скоро нужно будет уходить, а до этого еще предстояло начистить туфли, но откинувшись на спинку кресла, вытянулся во весь свой немалый рост и зевнул:

– Пора отделить зерна от плевел! Что я делаю со своей жизнью?

В его тоне было больше иронии, чем горечи. Сложив руки на животе, он уставился в потолок.

Мать посмотрела куда-то поверх его головы.

– Слушай, я чувствую, что-то происходит. Что с тобой творится? Только не вздумай этого отрицать.

Грейс Тернер начала служить у Толлисов через неделю после того, как сбежал Эрнест. У Джека Толлиса даже мысли не возникло выселить молодую женщину с ребенком из бунгало. Он нашел в деревне нового садовника и мастера, который не нуждался в жилье. Поначалу было решено, что домик останется за Грейс еще на пару лет, пока она не надумает переехать или снова не выйдет замуж. Ее добрый нрав и мастерство в полировке мебели – пристрастие Грейс именно к этой работе даже стало предметом семейных шуток – снискали ей популярность, но истинным спасением и возможностью вывести в люди Робби стала для нее пылкая любовь к шестилетней Сесилии и восьмилетнему Леону. Во время каникул Грейс разрешалось приводить с собой шестилетнего сына. Робби позволяли играть в детской и прочих комнатах, доступных детям, а также в саду. В лазанье по деревьям компанию ему составлял Леон, Сесилия была сестренкой, которая доверчиво держалась за его руку и для которой он был кладезем знаний. Несколько лет спустя, когда Робби завоевал стипендию на обучение в местной классической гимназии, Джек Толлис сделал первый шаг на пути долгосрочного патронажа, оплатив школьную форму и учебники юного Тернера. В том самом году родилась Брайони. Роды были трудными, и Эмилия долго хворала. Как незаменимая помощница в доме Грейс еще более укрепила свои позиции. На утро Рождества 1922 года Леон в высокой шляпе и брюках для верховой езды по поручению отца протопал по снегу к бунгало, держа в руках зеленый конверт. Поверенный мистера Толлиса уведомлял, что отныне бунгало официально принадлежит Грейс, независимо от того, будет ли она и дальше служить у Толлисов. Но Грейс не захотела уходить, просто теперь, когда дети выросли, вернулась к хозяйственным заботам, особое внимание уделяя безупречной полировке мебели.

Что касается Эрнеста, то ее легенда гласила, будто он отправился на фронт под чужим именем и не вернулся с войны. Иначе полное отсутствие у бывшего мужа Грейс желания узнать хоть что-то о собственном сыне выглядело бы бесчеловечным. Каждое утро, направляясь из своего бунгало в большой дом, Грейс размышляла о милостях, которые даровала ей судьба.

Эрнеста она всегда немного побаивалась. Возможно, с ним она и не была бы так счастлива, как счастлива теперь, живя в собственном маленьком домике со своим гениальным сыном. Конечно, если бы мистер Толлис оказался другим человеком... Среди женщин, которые приходили к ней за шиллинг заглянуть в будущее, было немало таких, которых бросили мужья, еще больше – потерявших мужей на войне. Они вели весьма скромную жизнь, нуждались, и сама она легко могла бы оказаться на их месте.

– Ничего, – вопреки ее просьбе ответил Робби. – Со мной ничего не происходит. – Он смазал туфли гуталином и взял в руки щетку. – Значит, будущее Молли обещает быть радужным?

– В течение пяти лет ей предстоит снова выйти замуж. Она встретит мужчину с Севера, имеющего профессию, и будет очень счастлива.

– Меньшего она и не заслуживает.

В мирной тишине Грейс наблюдала, как Робби полирует свои туфли желтой бархоткой. Мышцы его красивых скул подергивались в такт движениям, а на руках то взбухали, то опадали, играя под кожей. Должно быть, есть высшая справедливость в том, что Эрнест подарил ей такого сына.

– Стало быть, ты уходишь?

– Леон приехал, я встретил его, когда он въезжал в поместье. Он уговорил меня прийти на ужин. С ним его друг, ну, тот, шоколадный магнат, знаешь?

– Конечно, я ведь полдня начищала серебро и убирала в его комнате.

Робби встал с туфлями в руке.

– Глядя на свое отражение в серебряной ложке, я буду видеть тебя.

– Да ладно тебе. Твои рубашки висят в кухне.

Он сложил в ящик обувные принадлежности, отнес его на место, в кухню, там же из трех висевших на плечиках рубашек выбрал льняную, кремовую. Когда Робби снова проходил через гостиную, ей захотелось еще немного задержать его:

– Эти маленькие Куинси... Бедные овечки. Один из мальчиков даже промочил постель.

Замешкавшись в дверях, Робби пожал плечами. Сегодня утром он видел их у бассейна. Визжа и хохоча, мальчишки пытались закатить на глубину его тачку и сделали бы это, не помешай он им. А Дэнни Хардмен, которому положено было работать, околачивался рядом, плясая на их сестру.

– Ничего, они как-нибудь выживут, – сказал Робби.

Ему не терпелось поскорее уйти. Взбежав по лестнице через три ступеньки к себе в комнату, чтобы наскоро завершить туалет, он, наклонившись и глядя в зеркало на внутренней стенке дверцы гардероба, на помадил и причесал волосы, фальшиво при этом насвистывая. У него не было музыкального слуха, он не мог отличить одну ноту от другой, но, окончательно решившись идти на ужин, чувствовал себя взволнованным и, как ни странно, свободным. Хуже, чем есть, все равно быть не может. Методично, словно готовясь к рискованному путешествию или воинскому подвигу и наслаждаясь своей сноровистостью, он привычно положил в карман ключи, проверил бумажник – там лежала банкнота в десять шиллингов, почистил зубы, прикрыл рот ковшиком ладони и выдохнул, чтобы проверить чистоту дыхания, схватил со стола письмо, вложил его в конверт, набил портсигар, нащупал в кармане зажигалку. В последний раз осмотрел себя в зеркале: широко улыбнулся, приоткрыв зубы, повернулся в профиль, потом спиной – обозрел вид сзади через плечо. Наконец, хлопав карманы, ринулся вниз по лестнице, снова прыгая через три ступеньки, крикнул матери «пока» и вышел на узкую, мощенную кирпичом дорожку, бежавшую меж цветочных бордюров к воротцам в заборе из штакетника.

В последующие годы он нередко будет мысленно возвращаться к этим минутам, вспоминать, как, срезая угол, шагал через дубовую рощу по тропинке, потом вышел на дорогу

там, где она сворачивала к озеру и вела дальше – к дому. Он не опаздывал, но с трудом сдерживал шаг. В насыщенности тех минут сплеталось множество отчетливых и смутных приятных ощущений: красноватая догорающая заря, неподвижный теплый воздух, напоенный ароматами высохших трав и разогретой земли, расслабленные после дневной работы в саду ноги и руки, кожа, гладкая от долгого лежания в ванне, ощущение прикосновения к ней рубашки и ткани костюма – его единственного костюма. Предвкушение и страх увидеть ее были тоже своего рода чувственным наслаждением. И надо всем этим, словно осеняя все вокруг, царил душевный подъем. Это могло причинять боль, рождать чувство страшной неловкости, из этого могло ничего хорошего не выйти, но Робби открыл для себя, что значит быть влюбленным, и испытывал приятное возбуждение. Радость вливалась в него и по другим притокам: он все еще гордился тем, что оказался лучшим в своем выпуске. А теперь вот и от Джека Толлиса пришло подтверждение: он готов субсидировать продолжение учебы Робби. Нет, впереди вовсе не изгнание, а новое приключение – внезапно Робби это отчетливо понял. Хорошо и правильно, что он решил изучать медицину. Он не мог бы объяснить причину своего оптимизма, просто был счастлив и, следовательно, обречен на успех.

Одно-единственное слово заключало в себе все, что он чувствовал, и объясняло, почему впоследствии он будет так часто вспоминать именно эти минуты. Свобода. Свобода в жизни, свобода в мышцах. Давным-давно, когда он еще ничего не слышал ни о какой классической гимназии, его записали на экзамен, который вскоре предстояло сдать. Как бы ни нравился ему Кембридж, этот университет тоже был не его выбором, а выбором честолюбивого классного наставника. Даже профессию predetermined Робби харизматический учитель. Но теперь наконец начинается самостоятельная взрослая жизнь. Робби словно сочинял рассказ, героем которого был сам, и начало истории немного шокировало его друзей. Парковый дизайн был не более чем божественной фантазией, равно как и сомнительная амбиция – так он сам анализировал свои психологические мотивы по Фрейду – заменить или превзойти отсутствующего отца. Школьное наставничество – через пятнадцать лет должность руководителя секции английского языка и литературы и табличка «М-р Р. Тернер, магистр искусств в области педагогики, Кембридж» – не находило отражения в сюжете, не было там и преподавания в университете. Несмотря на первое место в выпуске, изучение английской литературы казалось ему теперь лишь увлекательной интеллектуальной игрой, а чтение книг и рассуждения о них – не более чем желательным атрибутом цивилизованного существования. Но оно не было стержнем жизни, что бы ни говорил на лекциях доктор Ливис. Оно не являлось объектом священного поклонения, смыслом жизненно важных исканий пытливого ума, и даже не было первой и последней линией защиты перед лицом варварских орд, оно ничем не отличалось от изучения живописи, музыки или естественных наук.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.